

# Даугава

**В НОМЕРЕ:**

Сто лет  
эпосу «Лачплесис»

«...всякого помилуй  
и от беды избави»

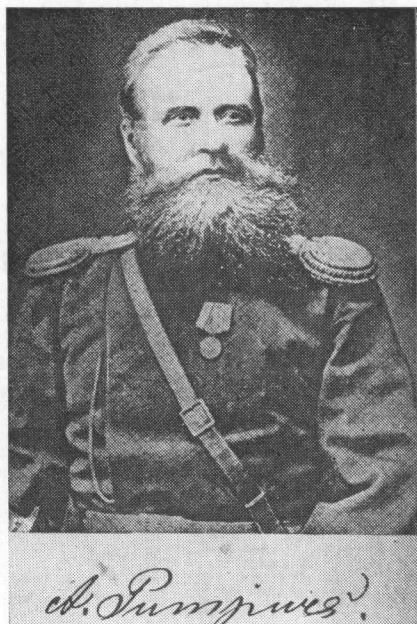
Возможность  
возразить

Сточная канава  
Юрмалы

Убийство  
в дачном  
поселке

1988  
6





Эмблема к столетию эпоса Андрея Пумпура «Лачплесис»  
Андрей Пумпур  
Карлис Зале. Горельеф памятника Свободы в Риге. 1935 год.  
В номере использованы иллюстрации художников и различным по времени и языку изданиям эпоса, а также репродукции произведений искусства, посвященных его теме.



# Даугава

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ  
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИЙСКОЙ ССР.  
ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1977 ГОДА

**6** (132)

ИЮНЬ  
1988

## В НОМЕРЕ:

Проза и поэзия

<b>СКУЕНИЕКС К.</b> Не оглядывайся! Предисловие Л. Бриедиса . . . . .	3
<b>ФРЕЙМАНИС А.</b> Городок под репродуктором . . . . .	10
<b>КЛИМЕНКО-РАТГАУЗ Т.</b> Семь стихотворений . . . . .	46
<b>ЛУКАШ И.</b> Часы Людовика. Гомункулус. Пре- дисловие Р. Тименчика . . . . .	50

Кафедра

<b>КУДРЯШОВ А.</b> «...всякого помилуй и от беды избави» . . . . .	61
---	----

Публицистика

<b>БУРТИН Ю.</b> Возможность возразить . . . . .	66
<b>ГОЛУБЕВ Б.</b> Сточная канава Юрмалы . . . . .	80

Правовой аспект

<b>ГЕЙМАН И.</b> Убийство в дачном поселке . . . . .	91
--	----

<b>РОКПЕЛНИС Я.</b> К столетию эпоса <b>Андрея</b> <b>Пумпура</b> «Лачплесис» . . . . .	99
--	----

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ЦК КП ЛАТВИИ.  
РИГА

(см. на обороте)

**В Н О М Е Р Е (окончание):**

Обзоры, размышления, рецензии

**АРЬЕВ А.** Отступление в жизнь . . . . . 106

Писатель о писателе

**КАВЕРИН В.** Михаил Зорин: «Все, что суждено» 114

Memoria

**ТОДДЕС Е.** Прибалтийский этюд Юрия Тынянова 116

**ТЫНЯНОВ Ю.** Два перегона . . . . . 121

Книжная полка

**ЛИННИК Ю.** Пространство культуры . . . . . 123

**Почта «Даугавы»** . . . . . 127

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

---

Главный редактор.

Владлен ДОЗОРЦЕВ

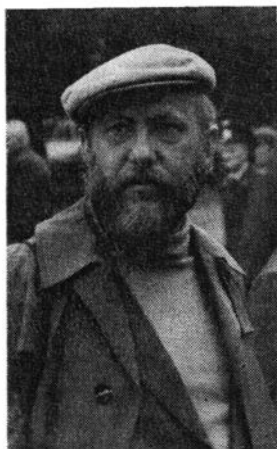
Редакционная коллегия

Юрий АБЫЗОВ, Виктор АВОТИНЬШ (отв. секретарь), Людмила АЗАРОВА, Астрида АЛЬКЕ, Улдис БЕРЗИНЬШ, Николай ГУДАНЕЦ, Юрис ДИМИТЕРС, Вика ДОРОШЕНКО, Вячеслав ИВАНОВ, Марина КОСТЕНЕЦКАЯ, Петр КРУПНИКОВ, Григорий НИКИФОРОВИЧ, Янис ПЕТЕРС, Кнут СКУЕНИЕКС, Ян СТРАДЫНЬ, Янис СТРЕЙЧ, Роман ТИМЕНЧИК, Леонид ЧЕРЕВИЧНИК (зав. отделом), Адольф ШАГИРО, Андрис ЯКУБАН (зам. главного редактора).

Редакция

Сергей КОЛЬЦОВ, Илан ПОЛОЦК, Вадим РУДНЕВ

**Кнут СКУЕНИЕКС**



## **НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!**

**[Не скончаемый роман]**

*«Поэт всегда прав», любила повторять А. Ахматова. Сегодня мы все чаще начинаем вслушиваться в эти слова, постепенно осозная, ценою какой душевной боли, отчаяния и обреченности они куплены. Да, всякий поэт бесспорно приходит в этот мир со своей правдой, добавим только — жизненная правда поэта тогда лишь приобретает смысл и силу также художественной правды, когда его творчество является не только самостоятельным, но скорее (и главным образом) альтернативным культурным явлением. К таким поэтам хотелось бы отнести и Кнута Скуениекса. Одна из наиболее существенных черт его как бы субъективной поэзии — необыкновенно высокий уровень объективности, способность поэта дать до максимума объективизированное отражение, или, говоря более точно, свидетельство своей духовной жизни и, одновременно, жизни всего общества, времени и истории.*

*Поэма «Не оглядывайся!», написанная в 1966 году и дождавшаяся своей первой публикации 10 апреля 1987 года в газете «Литература ун максла», в творчестве К. Скуениекса занимает особое место, так как она является свидетельством не только о жизни самого поэта, но в самой своей сути свидетельством о нашем еще сравнительно недавнем прошлом. Видимо, не имеет смысла пересказывать миф об Орфее и Эвридике. Однако хотелось бы сказать несколько слов о жизненном «мифе» самого поэта — Кнута Скуениекса, том «мифе», из которого произросла его «удивительно чистая и*

даже в недобрый час просветленная» (Я. Петерс) лирика, равно как и поэма «Не оглядывайся!». В начале шестидесятых годов К. Скуениекс был репрессирован и семь лет провел в заключении в Мордовии. Время заключения было для К. Скуениекса не только суровой и безжалостной школой мужества, но и его поэтической и гражданской закалкой. Одновременно оно было и осознанием того, что время и общество, в которых поэт живет, — его дыхание, источник творчества, — могут стать и душами поэта, могут ополчиться на его песню, могут даже оторвать поэта от его Народа, но — не поэта от Народа.

Ныне, когда поэма «Не оглядывайся!» начинает свой путь к аудитории, читающей на русском, хотелось бы надеяться, что она позволит нам не только вспомнить о прошлом, но, говоря словами самого поэта, осознать «нескончаемость» любого по-настоящему поэтического произведения, без которой немислима истинная Поэзия.

Леон БРИЕДИС

*ИНТЕ и ЭВРИДИКЕ посвящая*

Перевел Александр МАТУЛЬ

Кто полагает найти здесь греческий миф, заблуждается. По легенде Орфей шел спасать Эвридику. Здесь наоборот. Но разве в жизни зачастую многое не происходит наоборот?

### **I. Конец последнего странствия**

Сколь неясные тени!  
Что за серые птицы!  
Что за топи вместо лесов  
И опасливые топоры, не умеющие рубить!

Рассказать это невозможно,  
Невозможно пропеть и прожить.  
Это нужно забыть.

Выкрошить до последнего зуба —  
Что за всеобъемлющий холод!  
До последнего волоса выпасть —  
Какая здесь бесчеловечная тишина!

Леденеют ненужные пальцы —  
стали прозрачны.

Бесполезно язык засыхает,  
сворачивается  
и рассыпается.

Истрадавшиеся глаза растекаются по песку  
Неслышно.

Я закончен.

Лишь на той стороне Ахеронта,  
Пока пересчитывал деньги Харон,  
На отмели, до которой не доползают волны,  
Я успел еще записать последнее воспоминание:

### **Э В Р И Д И К А**

И она не покидает меня

## II. Аид говорит со мною

— Орфей, ты чем недоволен?

Тишина.

— Орфей, где твоя кифара?

Тишина.

— Не сыграешь ли мне на мертвых костях  
для сугрева души?

Тишина.

— Не споешь ли одну  
благонравную серую песню?

Тишина.

— Как живет та, —  
Ну как ее имя:  
Э, — Э, — ...?

Движение.

— Уведите его!

## III. Исповедь перед памятью

Здесь ничему нет начала,  
Кроме конца.  
Время тянется вязкой смолою  
И не рвется.

Здесь ничто не может случиться.  
Ни медлительности, ни торопливости нет.  
Есть Ничто,  
Есть Ничто,  
Есть Ничто.  
И Ничто здесь в брожение.

Разорвана с миром  
Последняя нить — дыханье.  
Теперь лишь во мне самом  
Все мирозданье.

Вот отчего перевозчик Харон разразился бранью,  
Лишь лодочники могут так грубо ругаться!  
И оттого он содрал с меня плату вдвойне —  
Слишком тяжелым был груз.

Так.  
Ну, память моя — Мнемозина,  
С чего начнем?

Видимо, с легкомыслия.

На кифаре играя, я принудил миндаль зимой расцвести,  
Тот замерз —

Грешен.

Своим пеньем я птиц, живущих на суше, на гребни волн заманил,  
И те утонули —

Грешен.

Из утроб беременных женщин выйти их сыновьям я помог,  
В междоусобице те убили друг друга —

Грешен.

Я невинную девушку сделал своей союзницей.  
Отнял все у нее,  
Оставив лишь имя:  
ЭВРИДИКА.

Грешен?  
Нет.

Силен, а не грешен!

#### IV. Лирическое отступление

Из всех богов  
Лишь один — человек.  
Гипнос.

Иногда он мне сон посылает.

#### V. Сон с голосом, который знаком не только мне, но и моим читателям и слушателям

Веселые, словно ласточки, где твои песни, где?  
Огненность маков твоих — где она, где?  
Струны твоей кифары паутиной покрылись,  
Орфей!

Где руки, чтобы меня и ломать и гнуть?  
Как камень мое изголовье, на нем не уснуть!  
Как пустоцвет мое тело.  
Орфей!

Как же мне без тебя? Что мне делать?  
Давит сон меня твоим телом —  
Орфе-эй!

(Вместо голоса возникает видение)

Посреди ночи  
На ложе полупустом  
Льются слезы и пот любви  
И капли крови  
С искусанных губ.

(Окончание сна)

О Мнемозина, что ты делаешь с даром богов?

#### VI. Чужой спокойный голос откуда-то совсем со стороны:

... И тогда ЭВРИДИКА отправилась в путь, завязав в узелок  
ломтик козьего сыра и туесок меда.



Встретилась ей горбатая-горбатая старушка с клюкою в руке:

— Куда ж ты направилась, доченька?

— Мужа ищу, матушка.

— И где ж он, твой муж?

— Не знаю.

— Что, сбежал что ли?

— Не может быть, матушка. Не верю.

Старушка улыбнулась.

— Это хорошо, что не веришь. Люди часто наговаривают.

ЭВРИДИКА развязала узелок и пригласила старушку.

— Спасибо, дочка. Старому не особо-то хочется.

— Бери, бери, мать. Пригодится в дороге. А мне надо дальше идти. Солнце вон уже как высоко.

— Погоди, — Старушка взяла ЭВРИДИКУ за руку и отвела обратно на обочину. — В спешке нет мудрости. Слушай хорошенько, что я тебе скажу. Иди до Тенарского ущелья...

— Ты знаешь, где Орфей?

— Не перебивай меня. Повторяю еще раз: в спешке нет мудрости.

Так слушай: иди до реки Ахеронт. Спроси перевозчика Харона.

Выйдешь на другом берегу, иди дальше и не бойся.

— Далеко?

— Сколько сердце прикажет. Не верь никому, верь сердцу.

ЭВРИДИКА хотела еще что-то сказать, но, удивленная, увидела, что старушки уже нет.

Нужно было идти.

## VII. По ту сторону

На песчаной отмели восемь букв:

Э В Р И Д И К А

## VIII. Эвридику знакомят с предписаниями

Пес Цербер с тремя головами.

Брат Зевса Аид с одной.

И целая свора безглавых,

С вампирьими шеями,

Ослиными ногами,

Козлиной вонью, —

Спрашивают:

ЭВРИДИКА,

Ты хочешь встретиться с мужем?

И ты утверждаешь, что муж он твой, тот человек?

Ты еще не преступила Черты,

Еще белым и чистым может остаться

Тебе отмеренный век.

Ты настаиваешь? Подумай.

Настаиваешь?

Послушай предписание № 1:

- а) ты обязана скинуть одежды;
- б) обрезать волосы;
- в) снять с костей свое тело;
- г) все оставить по ту сторону Стикса;
- д) и тогда можно идти.

Как возвратиться назад — предписания нет.  
Постарайся сама  
По частицам себя найти.

И ты настаиваешь?  
Тогда ты получишь Орфея.

Только послушай предписание № 2:

- а) не показывать признаков жизни —  
и самое главное —
- б) не оглядываться.

Тебе не увидеть мужа  
Сотни лет  
И тысячи зим,  
Бестелесной, бескровной быть,  
Серой тоской укрываться,  
Сто тысяч лет  
Не огля-  
Не огля-  
Не оглядываться...

Нам тебя жаль,  
*ЭВРИДИКА!*

Ты настаиваешь?  
Иди!..

Ласкают ноги усталыми языками  
Асфодели — блеклые полевые тюльпаны, —  
Полями, лугами,  
Горами, долами,  
Тропами, тропками...

## IX. В пути

Я не вижу тебя, я не слышу тебя — ЭВРИДИКА!  
Но я чувствую, где-то ты впереди — ЭВРИДИКА!  
Всегда и везде впереди — ЭВРИДИКА!  
Впереди меня на века — ЭВРИДИКА!  
Мой язык, и глаза, и кифара моя — ЭВРИДИКА!  
Моя Греция — ЭВРИДИКА!  
Моя Фракия — ЭВРИДИКА!  
Моя дорога и все что вокруг — ЭВРИДИКА!  
Конец пути моего, а конца ему нет — ЭВРИДИКА!

Будь стрелою,  
Струною,  
Будь сильной!

НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ, ЭВРИДИКА!

Твой взгляд есть начало,  
Коль оглянешься, концом он станет:  
Холод снова смертельный нагрянет.

По-над Стиксом будь впереди,  
По-над Летой будь впереди,  
Неся мою душу в ладонях,  
Не оброни!

НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ, ЭВРИДИКА!

Ты оглянешься — холод снова нагрянет.

НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!

Пока ты сердцем жива,  
Пока ты слышишь меня, —

НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ, ЭВРИДИКА!

Х. Окончание. За порогом царства Анда

НЕ  
ОГЛЯДЫВАЙСЯ,  
ЭВРИДИКА!  
ЭВРИДИКА...

1966



Эдуард Бренценс. 1929 год

## ГОРОДОК ПОД РЕПРОДУКТОРОМ

Рассказ



Перевел Леон ГВИН

Я почти уверен, когда выйдет первая книга кинорежиссера Айварса ФРЕЙМАНИСА «Рассказы чайной «Сорренто»», то многие латышские читатели снажут примерно так: «Хороших писателей очень мало. Фрейманис хороший писатель».

Критики, которые следят за тем, что выпускает Рижская киностудия, видимо отметят влияние более тридцати документальных лент Фрейманиса (за «Репортаж года» ему присуждена Государственная премия республики) на его прозу, а также художественных фильмов «Лобло в реке», «Мальчуган», снятого по мотивам произведения Яна Яунсудраби-ня.

Свою первую книгу Фрейманис, наверное, увидит в перерыве между съемками двухсерийного телевизионного фильма «Жизнь, моя жизнь» о латышском фольклористе и общественном деятеле Кришьянисе Бароне.

Если бы не кино, Айварс Фрейманис наверняка выпустил бы полное собрание сочинений.

Андрис ЯКУБАН

В городок, где прошли мои отроческие, мои жеребьячи годы, я наведываюсь иногда повидаться с родней, посудачить, поговорить о делах-делишках, но до сих пор как-то не приглядывался особо к здешним метаморфозам; они и раньше ускользали от меня, когда я на своих двоих пересекал от вокзала весь городишко из конца в конец, — ускользают и теперь, когда приезжаю сюда на своем драндулете, хотя родные пенаты как-то потихоньку изменились до неузнаваемости. Так вот незаметно меняются черты лица близкого человека, и однажды ты замечаешь, как состарилась вдруг твоя мать, недавно еще молодая женщина.

Бескрайние вишневые сады, в пору кипения напоминавшие своей невестинной белизной великую свадьбу, на которую приглашен весь город, исчезли навсегда — их сровняли с землей бульдозерами. На этом месте сейчас грязные, наспех заасфальтированные пустыри, стиснутые несоразмерной пяти- и двенадцатизатальной застройкой, промеж коробок понатыканы пятнистые тополя, как торчащие комлями вверх большущие веники. Что ни дом, из подъездов, словно летков гигантского улья, каждое утро валом валит народ, по изрытым, загроможденным трубами улицам люди устремляются к реке, на берегу которой,

там, где раньше стояла водяная мельница, воздвигнут Производственный Комбинат Шампунных Изделий, растущий вширь и ввысь не по дням, а по часам. Обывателям прежнего провинциального местечка такое и не снилось, зато нынешние горожане могут гордиться, что в их фирменных шампунях плещутся, подумать ведь, и в тех краях, где переваливаются по льду пингвины и трутся медведи о земную ось, и среди банановых рощ с висящими на ветвях мартышками. А нашей собственной речке-змейке, что, виляя по лесам да луговым болотцам, спешила в городок, выше плотины уширялась до маленького сонного озерца, а в падении разветвлялась на рукавчики и затончики, рассыпалась ручейками меж замшелых склизких валунов, под которыми мы, пацанята, горячим летним полднем нашаривали сомлевших налимов, — этой нашей старой доброй речке-реченьке пришел конец. И несет ее мертвым течением всякий видимый и невидимый хлам. Производители пахучих экспортных шампуней строго-настрого запретили своим детям приближаться к **воде**, — так они выражаются, поскольку даже не потрудились узнать прежнее название этой ныне безымянной зловонной канавы. Спроси у них, так она вообще может сгинуть с лица земли: на заработанных здесь «Жигулях» до Рижского взморья рукой подать (по выходным раз — и там!), а что мешает сполоснуться в Куршском заливе или на Чудском озере, на Черное море податься, коли приспичит, — широка страна моя родная!

Этот город я не люблю, потому что он больше не мой. Мой, отражавшийся некогда в речном зеркале вместе с пепельно-задумчивыми прибрежными ветлами и приметной черепицей красно-кирпичных крыш одно- и двухэтажных домишек, давно уже уплыл одновременно со своим отражением куда-то далеко-далеко, а с ним и облик, жесты, речь людей той поры. И не странно ли, что из всего множества местных жителей, которые, подобно муравьям, трудились на лесопилке, промкомбинате или на железной дороге, а после работы топали домой обихаживать коровушку, боровка, хохлаток и детишек, — вспоминаются мне иногда из всех лишь одни чудаки. Нет, к лучшим гражданам нашего городка я бы их не отнес, да, видно, благодаря фокусам-покусам, дурачествам и чудачествам они выделяются на фоне примерных и добропорядочных горожан точно так же, как в лесу среди бесчисленных стройных деревьев глаз сразу выхватывает необычные, кривые, уродливые свилеватые стволы.

На самой длинной улице городка плавится асфальт, в пролысинах оголяется булыжник. К нам приближается какая-то повозка; поначалу доносится только нудный перестук тележных колес, — но вот с каждой секундой все отчетливее раздается ритмичное цоканье конских копыт. Конец августа или начало сентября, тихие сумерки. Огороды пропитаны укропным духом, хозяева спешно снимают огурцы на засолку, поскольку «дело

идет к дождю». Со стороны церкви доносится задушевное пение. Ладные голоса выводят «народную величальную» о Сталине и Мао, что как родные братья, и недаром шум великой Янцзы-реки слышать аж на Волге-матушке. Эту песню сменяет другая, тоже про Волгу, но интимная: о любимой девушке, что в прибрежном поселке рабочем живет. В следующей на все лады поминаются Жигули, не забудем, однако, что на дворе только пятидесятые годы, и лимузин с таким названием не снился даже герою первой песни, не говоря уже о простых смертных. «Ах вы, горы Жигулевские, хороши вы, хо-роши-и...» — разносится над домишками, сараюшками, хлевушками, кроличьими клетками и скворешнями, по-над сонным местечком, чей покой автомобили тревожат еще лишь изредка и жители которого в данный момент озабочены, как уже говорилось, огурцами и предстоящим дождем. Кстати, погоду они безошибочно определяют по репродуктору, который водружен рядом с церковью на столбе и вещает неумолчно с утра до вечера: в солнечный день его жестяной голосище запутывается и тушется в листве церковного сада и дворах близлежащих домов, и наоборот, с приближением дождя гулко, словно в пустом бочонке, раскатывается по всему городку, эхом отзванивая в соседнем лесочке.

Этот репродуктор на самой верхотуре столба (и бог весть сколько его меньших братьев в учреждениях и квартирах) установлен моим отцом, да так близко к ограде божьего храма, что верующим, говорят, во время службы слышна и проповедь святого отца, и транслируемые Ригой или Москвой последние известия, а Леониду Утесову приходится подчас петь в сопровождении церковного органа. Ввиду такого богохульства пастор, которого мой отец запросто величает Жанисом, так как в молодости они, оказывается, вместе по девкам шлялись, во гневе праведном бывшего дружка своего не признает и уже некоторое время с ним не раскланивается. Но на следующий год Жанис в обмен на пожертвование в пользу храма опять предложит отцу новый церковный календарь, и отец великодушно соизволит приобрести его, отсчитав пастору от своего восьмисотрублевого месячного заработка три червонца (трояк из восьмидесяти, в нынешних деньгах если).

Упомянутый выше главный громкоговоритель доставлял отцу немало хлопот и головных болей, но об этом речь еще впереди, а пока оставим в покое центр городка и, сложив ладонь козырьком, глянем в дальний конец мощеной улицы, во-о-н туда, где она упирается в орешниковые заросли на опушке соснового бора. Лицо человека, идущего нам навстречу, освещено закатным солнцем, и мы можем не только разобрать, что на голове у него нечто вроде шляпы, за плечами — приличная торба и в руке здоровенная палка, которой он помахивает на ходу, но и слышим его пение, так как репродуктор сейчас, тихонечно посипывая, переводит дух между двумя передачами.

Песня — про горемыку Антония, который, «оставшись без отца и матери», «скитается печально по Дунаю и смерти ищет на берегах реки».

— Банкир идет!

— Привет Банкиру!

— Эй, Банкир, набрал орехов? — окликают его из огородиков прилежные сборщики огурцов, насмехаясь над очередным вывертом усатого толстячка: свою допотопную, неопределенного цвета и формы шляпенцию он увидел хмелевым веночком! Человек по прозвищу Банкир тычет большим пальцем на свисающий с плеча полный куль и в объяснения не пускается — не обрывать же песню. Антоний, окончательно созревший для самоубийства и готовый хоть сейчас прыгнуть в холодные воды Дуная, по счастью вдруг замечает, что «в небесах орел парит, жизнь свою борьбе дарит» («жисть», поет Банкир). Тут наш Антоний не только преодолевает постыдную минутную слабость, но в порыве патриотических чувств энергически требует «Ах, дайте мне ружжо и меч, пойду отечество стеречь!». Финал этого чудного и поучительного романса уже не разобрать, так как исполнитель успел приблизиться к могучему громкоговорителю на такое расстояние, что был заглушен Полем Робсоном: «O, my baby, my honey, honey baby!»

Как только наша семья перебралась в этот городок, имя Банкира сразу же поразило мое воображение. Самого-то коренастого усача в заслуженном, похожем на репейный лист головном уборе, из-под которого, как два новорожденных каштана, весело поблескивали карие цыганские глаза, я увидел воочию много позже, а покамест всей кожей ощутил присутствие крайне загадочной личности, оставлявшей в самых разных местах — на стенах домов, на заборах и тротуарах — рисованные мелом изображения с собственноручной подписью. Чаще всего это был глобус, окольцованный следующим текстом: «ВСЕМ СТРАНАМ ДЕРЖАВАМ НАРОДАМ МИРА СЧАСТЬЯ СОГЛАСИЯ В ПЛАНЕТАРНОЙ ВЕРЕ УЛИЦА СКАРНЮ 3 ВХОД СО ДВОРА БАНКИР». Ух ты, дьявол, что только позволяет себе этот Банкир, даже знаков препинания не ставит, подумалось мне тогда; разумеется, я и не подозревал, что кое-кто из латышских поэтов еще не такое будет со временем печатать. В те годы современную поэзию не слишком-то читали, и потому в один прекрасный день Банкира, сказывают, вызвал к себе Балагурс, «на чашку чая», как много лет спустя, воспроизводя этот случай, выражался сам Банкир. Тут вообще-то надо пояснить, что Балагурс, несмотря на свою не совсем соответствующую занимаемой должности фамилию, был районным гебистом. «Казлаускис Симон Симонович по кличке Банкир?» — «Да», — простодушно ответил бедолажка, и не подозревая, как опасно иметь кличку. Балагурс оживился довольный и тотчас сунул ему под нос лист бумаги — напиши, мил-друг, настоящие имена (и псевдонимы тоже) остальных членов организации. Каких таких

членов?! Не строй из себя идиота. Хотя за притворство и упрямство Банкиру был обещан бесплатный осмотр белых медведей в их родных краях, он знай себе твердил, что рисует и пишет в одиночку, все делая сам. И в конце-то концов чо такого писать: мира всем народам и странам желают ведь все газеты и сам громкоговоритель! Страж государственной безопасности, поразмыслив, сделалась как бы уступчивей, понял, верно, что у мужика на чердачке свищет, но все же велел немедля прекратить писание всяких там в соответствующих инстанциях не утвержденных и двусмысленных лозунгов. Спросил еще, по какой такой причине советский гражданин Казлаускис носит не настоящую фамилию, а какое-то капиталистическое прозвище. Уловив по тону товарища Балагурса, что официальный допрос закончен, Банкир перестал теребить свой изжеванный шляпок, нахлобучил его на голову и приступил к изложению истории того, откуда, значит-цэ, взялась эта проклятая кличка. Так, мол, и так, было это еще во времена Латвии. Буржуазной Латвии, уточнил Балагурс. Ну да, буржуазной, согласился Банкир-Казлаускис и продолжал. Тогда печаталось великое множество всяческих календарей: каждая партия, каждое общество и секта выпускали свой месяцеслов, кто потолще, кто потоньше, кто совсем невидный, но свой. И вот в одной такой тонюсенькой тетрадошке, которую он, не в присутствии будь сказано, нашел в сортирном кармашке, куда ее, по его разумению, с началом нового года запихала как ненужную в доме вещь старая Крумкалниха, которой принадлежал нарядю с шикарной мясной лавкой и весь тот дом, где он, Банкир, ютится и по сей день, вход, знаете ли, со двора, сразу же за большим кустом бузины и бочкой для дождевой воды (в этом месте Балагурс попросил рассказчика держаться ближе к делу), одним словом — в тойном календарчике он, покуда сидел на стульчаке, обнаружил список дней рождения президентов и королей разных государств. Да! По числам выходило, что ближайший юбилей ожидался у королевы английской. Ну, решил шутки ради послать ей поздравленьице. Сказано-сделано, взял и отбухал, прямым в Лондон. Тут Балагурс навострил уши: разве Казлаускис владеет иностранными языками? И какими же? Чуток по-цыгански (некрасивые слова) и по-немецки сказать «нихт ферштейн», пояснил Банкир, не подозревая, из какой пропасти он сейчас выбрался, так как в заполненной им до того анкете такой порочащий факт, как знание чужого наречия, не был указан. Тексты первого и всех последующих писем ему составляла Леди, а уж он только списывал. Леди? Так многими поколениями школяров прозывалась гимназическая учительница английского языка. За этой барышней — до войны она жила в доме Крумкалнихи, но не в нижнем этаже, где мясная лавка, а в мансарде, — водилась странность, и даже не одна, а две. Во-первых, она время от времени перекрашивалась, представляя перед учащимися в одной четверти учебного года в облике бе-



локурого ангела, а в другой — пиковой дамы, пока однажды ее волосы не обрели изумрудно-фиолетовый цвет и стали выпадать напрочь. Другой странностью Леди была, пожалуй, ее прямо-таки безумная страсть к цыплячьему жаркому. Весной она всегда покупала у деревенских с полсотни пищущих созданий, чтобы во второй половине лета казнить их на чурбане. Собственно, Леди не способна была и мухи обидеть, поэтому заплечные дела обтяпывал он, Банкир, за некоторое, сами понимаете, вознаграждение. Составление текста посланий их величествам в конце концов стало основной формой оплаты его услуг. Он цыпленочка на плаху — она поздравление президенту Мексики. Он — секир-башка, она — счастья-здоровья Вашему Величеству и его народу на тихоокеанском острове размером с буханку хлеба. Королек-то, получив поздравление из страны Latvia, про которую он и слыхом не слыхивал, надувался как индюк: ишь ты, мое имя известно уже в глобальном масштабе! Приветственный адрес подписал banker Kaslowsky, следовательно высокопоставленный и всеми уважаемый человек в той загадочной великой державе, что где-то между Испанией и Японией. Королек приказывает отослать банкиру в дружественную Latvia, в ответ на проявленное внимание и проникновенные слова, благодарственное письмо и какой-нибудь сувенир. И так вот в наш (до тех пор не фигурировавший на международной арене) городок со всех концов света стали приходить посылки на улицу Скарню, 3, Казлаускису, бан-ки-ру, сколько могли разобрать по слогам на обляпанных пестрыми марками всяческими штемпелями конвертах местные почтовые служащие (этого **банкира** выдумала для солидности Леди). При получении первой бандероли — от английской королевы — на почте надорвали животики, кто бы поверил, что банкиры разгуливают в дырявых и засранных портках! Яркие открытки с пароходами в Гудзоновом заливе, египетскими пирамидами и индуистскими храмами, бандероли с туристскими путеводителями, пакетики с крокодилым зубом, надувным утенком или индейской трубкой — весь этот разноцветный ручеек тек к жильцу, снимавшему у домовладелицы и хозяйки мясной лавки Крумкалнихи жалкую конуру, где всю обстановку составляли пропыленный тюфяк, столарный верстак и колченогий табурет, тек и оставлял в тени богатую хозяйку, поскольку жители городишка дивились и не могли надивиться на заморские безделушки, не уделяя почти никакого внимания выставленным в лавке бараньим голяшкам и свиным рылам. Люди попривыкли к новому, павлиньему оперению городского лебедя — пристегнутому к фамилии Казлаускиса высокому титулу и стали звать его просто Банкиром. Теперь уже мало кто помнит его настоящую фамилию.

После беседы у Балагурса Банкир, само собой разумеется, перестал размалевывать стены и заборы, но по-прежнему отирался в толпе и совал свой нос в чужой вопрос. Помню: в теплый весенний денек, подобравшись снаружи на цыпочках к

распахнутому классному окну, слушает не наслушается Банкир объяснений исторички про царствование Екатерины I и при этом еще умудряется вставить промежду делом словечко. Раз мы не знаем, что Катринка-то из Алуksне, и звать ее взаправду Марта (а никак не Катрина и не Екатерина вовсе!!), самому Петру Великому в жены навязалась (по благу, верно), а когда Петр откинул копыта, эта Марта, как уж самая что ни на есть латышечка, пускала на царское-то ложе любого встречного-поперечного, лишь бы мужик был стоящий, поскольку она до них охоча была что медведь до меду. Молоденькая наша историчка, вся красная, как фуражка начальника станции, велит закрыть окно, но, ввиду задержки с выяснением того, кто же сегодня дежурный, Банкир успевает нас просветить, какими резными деревянными человечками в самых прихотливых позах украшена была царицына кровать в изножье и в изголовье; у него книга есть, так в ней все до последнего сфотографировано, может принести показать. Тут уж учительница с кунным проворством подскочила к окну и с треском его захлопнула; так что бесстыдник только и успел вскрикнуть: «Голубка!»

Это означало, что Банкир зачислил нашу молоденькую смазливую учительницу во вторую — элитную — группу по своей шкале женской красоты. Открывалась она курочками — девичками до двадцати, после голубок шли уточки, далее по возрасту следовали лебедушки, глупые кряквы и старые гусыни. Читатель, возможно, уже догадывается, что интерес Банкира к противоположному полу был ничуть не меньше, чем у Екатерины I. И впрямь: всюду, где бабы и девки были в численном перевесе (хотя бы, скажем, у молокозавода в очереди за пахтой в рассветном полумраке), промеж них крутился Банкир — уже издали слышны были смешки да женский визг: это старый черт усатый, как тут же честили его в глаза, норовил голубок и уточек кой за какие места ущипнуть. Иногда, правда, холостяк наш давал маху: рядом с голубкой в свободном полете вдруг оказывался ангел-хранитель, и притом с такими мощными крыльями, когтями и клювом, что о последующем лучше не вспоминать, поэтому наученный горьким опытом Банкир, прежде чем назвать красотку-избранницу соответствующим шкале именем, настороженно озирался. Крупнейшей ошибкой с его стороны (за коковую дорожку пришлось ему заплатить) было то, что он усматривал опасность только в лицах мужского пола, не представляя себе, какая грозная сила сокрыта в самих голубках и уточках, а в кряквах и гусынях особенно, не говоря уже обо всем стаде в целом. Случилось это в бане. Но прежде чем приступить к описанию рокового мига, когда бедный черт усатый, беспрепятственно пройдя через раздевалку, с радостным возгласом «Ах вы, мои уточки!» переступил порог парильни, хотелось бы посвятить небольшое лирическое отступление бане нашего городка в ту далекую пору.

О ты, наша старая добрая баня, чистилище плоти нашей по-

сле тяжелой недели трудов праведных и неправедных, ты, пропахший березовым листом, дымом и размокшими досками Храм Банного Духа, чьи бревенчатые косточки, превращенные бульдозерами в щепу и прах, перемешанные с грязной землей, битым стеклом и кирпичом с трухую, развешанные на все четыре стороны, гниют теперь где-нибудь под фундаментом очередного провинциального небоскреба, обитатели которого, утопая в своих ваннах, своих знаменитых на весь мир шампунях и собственных нечистотах, скулят, что нынче вечером им придется сходить с ума от скуки, так как по телевизору ни хоккея тебе, ни видеоритмов, — мы, баюканные колыбельной Поля Робсона, мы никогда не забудем тебя, о наша милая заячья банька-умыванька из детской сказки! Ты была для нас больше чем общественный помывочный пункт, куда как больше, ибо в ожидании очереди к веничку мы, тутошние, кого не надо было знакомить друг с другом, могли здесь, как в клубе, наговорить в досталь и обсудить все, что случилось за неделю в нашем городишке и за его пределами, включая ход военных действий в Корее по ту или другую сторону 38-й параллели. Услужливый банщик буквально за гроши тут же продавал нам собственноручно связанные березовые веники, не забывая повторяющуюся из раза в раз присказку, что срезаны они в канун Иванова дня и ни часом позже, а потому хлещут мягко и ласкают кожу, а когда ты, человеке, отменно попарившись, надраенный как молодой месяц, возникал в дверном проеме, у старого банщика всегда находилась для тебя бутылочка холоденького пивка. И мужики, облаченные в белые одежды, восседали на лавках, словно магараджи, потягивали хмельную ячменную брагу и чувствовали себя на седьмом небе.

Если же от патриархально-ностальгических сантиментов, которые, взятые в свете сегодняшнего дня, граничат, так сказать, с замаскированной, изволите видеть, алкогольной пропагандой, мы обратимся к более приземленному стилю, то здесь, ради пущей ясности, следовало бы отметить, что банщик дежурил только по субботам, в то время как по пятницам, когда баня была женской, клиентов, естественно, обслуживала тетушка, она же банщикова супружница. В один из таких прелестных пятничных вечеров и довелось нашему Банкиру проходить мимо топящейся бани. Входные двери были нараспашку, и старый юбочник мигом приметил, что и дальше, возле следующих дверей, охрана сей момент отсутствует! Вот он напрямик туда шасть и, поскольку задержать его было некому, прошмыгнул через пустую раздевалку — и предстал на пороге парильни, радостный, возбужденный, предвкушающий! Восхищение целой галереей представительниц прекрасного пола — начиная от укутанных облаками пара стройных Афродит, чьи тела были покрыты если не пеною бурлящих волн Эгейского моря, то хотя бы едва пенящимся мылом рижской фабрики «Дзинтарс», и кончая рубенсовскими тяжелоатлетками — было столь велико, что

непрощенный гость, как уже говорилось выше, испустил восторженный вздох: «Ах вы, мои уточки!» В следующий миг одна из (воспользуемся терминологией пострадавшего) глупых как пробка старых гусынь гагакнула, что это уж чересчур, что надо старому развратнику выцарапать зенки, чтобы неповадно было впредь пялиться на женские прелести. Пленив старичка-разбойничка общими усилиями, они оттащили жертву к крану (так муравьи, случается, волокут саранчу), сорвали с башки убор и обдали седовласое темечко струями горячей воды, покамест соратницы колошматили его по хребту комлями банных веников, а самая главная зверюга, ихняя предводительница, схватила с пола банкирский посох и ну давай лупцевать им хозяина, правда не по загривку и не по спине, но из гуманных соображений чуть пониже. К счастью, одна курочка-афродита, не принимавшая участия в избиении, увидела, что у почтенного старца по щекам текут не только капли, но и слезы, и сама заплакала и, рыдая в голос, стала возмущаться насилием старших товарок, а уж действительно, весь вид Банкира вызвал к жалости: мокрый, помятый, истерзанный. Тут линчевательницы устыдились самое себя и унялись. После этой мрачной пятницы Банкир почти неделю отлеживался в постели, если этим словом пристойно будет обозначить его соломенный тюфячок, а когда пришел в себя, то заявил, что за всю долгую жизнь ему приходилось разочаровываться не в одном правительстве, теперь же он самым глубоким образом разочаровался и в женщинах.

Иногда Банкир, калякая о своей жизни, говорил, что с божьей помощью ему удалось избежать двух главных зол, способных накликать на человека беду и даже свести его в могилу: военной повинности и брака; в сущности это одно и то же. Поэтому у Банкира было время посещать всяческие собрания и заседания, однажды он явился даже на вече пользователей общегородских пастбищ. И в ответ на высокомерное заявление скотовладельцев о том, что у него нет ни коровы, ни козы, процитировал классика: «Я мира часть, за все я отвечаю!» В отличие от некоторых лиц, гордо восседавших в президиумах за красным сукном, но листавших разве что районную газетку, и то впопыхах, голова Банкира пропускала через себя чтиво целыми ворохами, как молотилка — снопы колосьев; журналами «Атпута», календарями и книгами, включая поврежденные крысами тома Всемирной истории, был завален весь угол комнаты. Удивительно ли, что этакый субъект на большом собрании, где сначала, как положено, «поступило предложение избрать в почетный президиум . . .», еще и осмелился задать вопрос: «Я чево-то все в толк не возьму, откуда-то в такие разы эти предложения посту- па ю т?» (Говорят, именно после одного такого случая Балагурс взял Банкира на мушку.) Иногда чертов старикан, сидя молча как мышка и держа рот на замке, ухитрялся все же если не сорвать, то испоганить целое мероприятие или спектакль. Стоило ему в интимнейшей сцене возвышенной трагедии

закашляться, как половина зала уже с трудом сдерживала смех.

Но вы ошибаетесь, если думаете, что этот шут гороховый гонял лодыря и ел даром свой хлеб. Ничего подобного! Банкир — и не без гордости — причислял себя к работникам транспорта, поскольку он, пыхтя от натуги и обливаясь потом, толкал по булыжной мостовой громыхающую громадную двуколку, насаженную на ось конной повозки. На этом транспортном средстве он развозил штучный товар потребобщества, булочки и пирожные из пекарен доставлял в буфеты, случалось, возил из киношки на вокзал коробки с фильмами, на обратном пути по-собля пассажирам прибывшего поезда доставить домой тяжеленные корзины и баулы. К тому же ему принадлежал, как вы уже успели заметить, осматривая его жалкую конуру, один стоящий предмет мебели — столярный верстак, и Банкир, если ему хотелось, мог смастерить рамочки для ульев, скворечники, починить шинковальную доску, заклеить в паспарту чье-нибудь фото, приделать к метле черенок, переплести журналы (правда, не скоро, так как сначала их надо было прочесть от корки до корки и решить все кроссворды). Еще он умел выдирать пороссятам гнилые зубы, прочищать печные трубы и при необходимости (как мы уже убедились) резать кур. Когда работа приедалась, а на хлеб и чай денег хватало, Банкир в рассуждении, что труд полезен в меру, с песней о горемыке Антонии отправлялся в поход, в грибную или ягодную пору.

Как-то приехав на Иванов день в свой родной городишко, я сразу заметил в местной газете траурную рамку, газета потому, верно, обратила на себя мое внимание, что вокруг нее стояла чучка веселящихся горожан.

Симон Казлаускис-Банкир  
Вынос тела 23 июня в 17 час.

Очевидно, к фамилии усопшего присоединили кличку Банкир, чтобы всем было понятно, кто умер, и чтобы обеспечить одинокому холостяку хотя бы нескольких провожающих. Но удивительным образом, за гробом шла толпа — люди и без того были одеты по-праздничному, а цветы нарвать можно на любой клумбе, на краю любой канавы, — трудно ли, отправляясь на Лигу, полчаса побыть на кладбище, где все буйно цветет и зеленеет, как в большом саду? Оказаться в земле, под дерниной, в такой день — видать, это был последний трюк Банкира. Жаль только, что он не смог прочесть солидное газетное объявление — признание несколько запоздало.

Но вернемся в тот далекий вечер в начале осени, когда Банкир, живой и здоровый, помахивая палкой, с торбой, полной орехов, с хмелевым веночком на голове и своей единственной песней о дунайском горемыке Антонии на устах, входил в городок из ближнего леса. Гриб-трутовик на столбе у церковной



ограды передавать концерт Поля Робсона уже закончил. Его сменила получасовая лекция о мобилизующей роли стенных газет машинно-тракторных станций в уборочную страду, потом пошел «Щелкунчик», без которого не обходится ни один день. Тем временем тьма объяла почти всю северную часть небосвода — неласковая, пугающая предвещница осенней промозглости и длинных зимних вечеров, но западный край небосклона пока еще рдеет, подобно тому, как дрожат на стене блики пламени, гаснущего в зеве потухшей печки. Размытые бесцветные очертания церковного шпиля и окрестных деревьев на фоне вечерней зари кажутся аккуратно выпиленными из фанеры, выкрашенными в густо-черный цвет и наклеенными на розовую основу (такой декорум когда-то был в моде, в интерьере мадам Крумквалл, владелицы мясной лавки, вне всякого сомнения). Галки, каждый вечер прилетающие из лесу в церковный сад на ночлег, ссорятся и воют за удобные ветви с таким граем, что сейчас мы не в состоянии расслышать, о чем бормочет на верхушке столба большой громкоговоритель. (Закатное небо, утопающая в деревьях церквушка и вздорные галки — эта банальная картинка так глубоко засела у меня в памяти, что однажды, во многих сотнях миль от Латвии, увидев через окно суперсовременного отеля нечто похожее, я вдруг так сильно захотел домой, что готов был тут же заказать обратный билет.)

Ну вот и сборщики огурцов попрятались по теплым углам, расцвели под кухонными потолками электрические лампочки, детишки склонились над мисочками с ужином и с аппетитом уплетают поджаренную на маргарине картошку, потом — по кружечке кипятку с плавающими в нем леденцами всех цветов радуги — и на боковую. Терзания у телевизора тут еще никому не знакомы, потому малыши, едва погасят свет, сразу увидят Дрему и Ерему, а взрослые — чуть позже, когда намилуются, но, конечно же, в меру, потому что, хоть никто и не мешает, однако завтра вставать чуть свет. И только большой репродуктор в гордом одиночестве будет до полуночи добросовестно вещать о военных действиях в Корее, куда, слава господу, не отправляют наших парней и которая, к счастью, находится от нас так же далеко, как звезды над черепичными крышами, и над усеянными галочьим войском деревьями церковного сада, и над крестом на шпиле; будет повествовать об оазисах в пустыне, которые зазеленеют и станут плодоносить, как только завершится строительство грандиозных каналов; о самом ценном из всех растений — кок-сагызе, которому суждено стать ключом к полным закромам, изобилию и благосостоянию советского народа; речь, разумеется, пойдет о ходе зяблевой вспашки на полях Латвии, где колхозы имени Ворошилова и имени Берии успешно ведут социалистическое соревнование с колхозом имени Маленкова; о блестящей победе советских футболистов во Франции, достигнутой несмотря на непрерывное

Рисунок Раула Лиепиньша

подсуживание противнику продажных судей из капиталистических стран; и под конец о грядущих морозах. Потом в течение неполной минуты по мощеным или песчаным, поросшим подорожником улочкам маленького курземского городка будут мчаться, подавая отрывистые гудки, московские ЗИМы, ЗИСы и «Победы», пробьют кремлевские куранты и под занавес прозвучит гимн. Исчезают шорохи эфира, громкоговоритель умолкает на шесть часов. Воцаряется жуткая тишина. Слышно, как с яблонь падают яблоки и где-то высоко-высоко в небе хлопают крыльями улетающие лебеди или журавли. «Кхе, кхе!» — хихикнет, посмеиваясь над ними, какая-нибудь полусонная, прикорнувшая на дереве церковного сада галка, целиком одобряя пропетую недавно большим репродуктором мысль о том, что он никуда не хочет улететь и что не нужен ему берег турецкий и Африка тоже не нужна. Может, откликнется на галочье покряхтывание кто-нибудь из ее коллег, а если нет, то во всем божьем мире, начиная с кузнечика, умирающего на морозе и пытающегося укрыться в стеклянном цветке георгина, здесь внизу, в саду, и кончая туманно белеющим Млечным Путем там, вверху, в небесах, останется одна только стылая тишь. И тут...

Где-то заскрежещут, загромяхают по булыжнику колеса. Нет, это не двуколка Банкира, как можно было бы предположить, потому что в столь поздний час спит даже великий бродяга Банкир. (Во сне он видит, как английская королева присылает ему на продажу бриллиантовое ожерелье, чтобы на вырученные деньги он смог купить себе шерстяные носки без единой, даже самой крохотной, дырочки; засим Елизавета номер такой-то оборачивается Леди и ну обольщать его точь-в-точь, как сама Марта-Екатерина, предлагая тушеного с пылу с жару цыпленка, смородиновую настойку в граненом стакане и лукаво добавляя при этом, что сочинение текстов поздравительных посланий отнюдь не единственный вид вознаграждения, на который она способна.) Эта, уже громяющая неподалеку повозка совсем другая, куда более внушительная, не на двух, а, как полагается, на всех четырех колесах и с красным фонарем на задке. С появлением в поле зрения читателя этого транспортного средства, в сущности, начинается рассказ о другом примечательном свисте на древе нашего местечка. Звали его Фриц-говночист, и хотя это звучит очень даже некультурно, но его и в самом деле величали только так и не иначе.

Пока подвода достигнет углового фонаря и в кругу света мы сможем рассмотреть все поподробней, сообщу вам, что у Фрица есть и фамилия, записанная в паспорте, — Бертулис (эту гордую фамилию носит и некий видный артист), однако многие клиенты (а если подсчитать, то буквально все горожане) привыкли к прозвищу, соединяющему в себе личность человека с его занятием. Так-с — вот теперь из тьмы выныривает лошадиная голова, в дальнейшем свет выхватывает из мрака не ка-



кую-нибудь там шелудивую провинциальную клячу, как следовало бы ожидать, а, к нашему крайнему удивлению, — стройного склада, лоснящуюся вороную породистую кобылу во всей своей красе — просто сказка! Не спешите уяснять это странное противоречие, давайте лучше последим за вожжами, которые вдоль живописных боков и словно подстриженного в парикмахерском салоне хвоста тянутся не взад, а взмывают куда-то вверх. О, кучер там будто на троне, амвоне, трибуне, на командном мостике корабля! В зубах у него чубук, физиономия величественная, хмурая и слегка обиженная: мол, пока вы ворочаетесь на перинах, я должен в одиночку разбираться с наваренной вами кашей. Потухшая курительная трубка перемещается в другой уголок рта, слышно достойное кабана отхаркивание, из противоположного, освободившегося от сосания трубки угла с силой, как пингпонговый мячик, вылетает наружу плевок. В грохоте колес можно еще расслышать несколько английских слов, выговариваемых сочно, крепко, с расстановкой, пожалуй они не из лексикона банкирской приятельницы королевы Елизаветы; еще миг — и лошадь, ездок и подвода исчезают во тьме ночи, а мы успеваем заметить, что высокое сиденье устроено на громадной, квадратной, облепленной грязью и омерзительно смердящей бочке с толстенной затычкой и упомянутым выше красным фонарем.

Пока Фриц со своей каретой пересекали освещенное пространство, внимательный читатель, может быть, уже обратил внимание на два момента: неподходящую к мерзкой бочке породистую лошадь и английские ругательства. Действительно, это весьма существенные детали жизнеописания Фрица, но... начнем, как принято в биографиях, с самого начала. Беда только в том, что в противоположность разговорчивому (или, как выражаются ныне умные люди, коммуникабельному) Банкиру этот Фриц был настолько погружен в себя, что наружу из него вырвались только всевозможные *devil damn it!* и бурные плевочки — поскольку трубку он почти что и не раскуривал, а жевал и сосал холодной и никотиновая жижа в длинном, обгрызенном конце мундштука так и чавкала. Потому бурное житие угрюмца было сложено в цельную картину его соотечественниками, словно из осколков разбитой вдребезги какой-то аляповато расписанной вазы, по обрывкам слышанных в разное время рассказов и даже отдельным фразам, которыми в редчайших случаях обменивался с каким-нибудь счастливецом, пребывая в добром расположении духа, Фриц.

Эти мгновения обычно выпадали на субботние вечера, когда владелец красивейшей в городе кобылы сидел у окна и неспешно потягивал *the grand old drink of the Scotland*, как он именовал налитую в роскошную бутылку водку с можжевельными ягодами. Сидел он как на сцене, ибо занавесок не признавал; в Голландии, где он провел свои *the best years*, никто таким бархлом окна не заставляет, не в пример здешним крысам —

честному человеку скрывать нечего. Большой частью Фриц предавался размышлениям в полном одиночестве, но иногда, поражаемый внезапной мыслью, повелительным жестом зазывал прохожего разделить с ним трапезу. Не будь приманки в виде чертовой фляги с можжевельной, — этого магнита, этого куска колбасы для голодного пса, — вряд ли бы кто принял приглашение, так как всем было известно, что Фриц в любой момент может взорваться и не угадаешь, что именно способно свергнуть его в состояние гнева. Если, к примеру, гость вдруг усомнится в соответствии напитка бутылочной этикетке, он рискует в следующую секунду вылететь в дверь, как старый башмак, но с той же вероятностью может получить по лбу приспособленной под пепельницу консервной банкой, если ему вздумается, наоборот, воздать напитку хвалу («Ну джин это джин!»). Его обзовут брехуном и жалким подлизой, каковыми, в сущности, являются все латыши, ничтожные крысы. *The Latvian rats!* Себя Фриц не относил ни к латышам, ни к какому-либо другому конкретному народу — в нем столько же от русского, сколько от немца, а мог он быть и литовцем, поляком, китайцем, датчанином или гвинейским негром. Что же до женщин разных наций и стран, то он переспал со всеми, кроме эскимосок, и то лишь потому, что не было желания залезать в спальный мешок к набитой крупую кровяной колбасе, которая, вместо того чтобы мыться, мажется тюленьим жиром. Если уровень жидкости в сосуде понижался до мутного осадка на доньшке и со-трапезник вел себя скромно и не приставал с дурацкими вопросами, то беседу на интимную тему нередко венчал рассказ о старом капитане, который приобрел в Лондоне у прославленного мастера и потихоньку взял с собой в рейс надувную резиновую любовницу. Удовлетворение было полным, но он не знал, что однажды в его каюту проник боцман и тоже побаловался с большой куклой; при встрече с мастером, изготовившим такую оригинальную игрушку, капитан принялся всю его нахваливать — любовница совсем как настоящая, даже дурную болезнь подхватил! Под конец повести, прежде чем надолго умолкнуть, буравя столешницу жестким взглядом ящера, Фриц выдавал свое сокровенное, настоящее на горьком многолетнем опыте суждение, — вот, говорил он, трахнув кулаком по столу, весь мир — огромная выгребная яма и ничего больше, и всяк червяк в ней, копошась в своем закуте, напрасно воображает, что в другом конце ямы жизнь лучше, — болван!

Батрачонок Приц Бертулис (как его звали в детстве, когда губы латышского крестьянина еще не умели выговаривать изысканного звука «ф») рос-рос и вырос в настоящего богатыря: он мог играючи подхватить мешки с мукой, как подушки, вытаскивать увязнувший в грязи воз вместе с лошастью, а в кабацкой драке расшвырять, будто снопы льна, с полдюжины молодцов. Однажды на ярмарке (на той самой площади возле церкви, где впоследствии установят знакомый нам громкоговоритель, а в

наши дни шумят и покрываются пухом тополя) Приц Бертудис повстречал своего предыдущего хозяина, отъявленного жулика, надувшего его, как и других батраков, при выплате оговоренного жалования. Слово за слово, скоро ли долго ли, батрак, малость под хмельком, вскипел и поднес стервецу под нос кулачище — хозяин, казалось только и ждавший такого поворота, кликнул урядника. Царский служака с такой резвостью ухватил за ворот возмутителя спокойствия и бунтовщика, что того обидо взяла, и он человека в мундире от себя оттолкнул. Урядник грохнулся затылком о тележный обод и испустил дух! Юный Бертудис зайцем метнулся в кусты церковного сада, оттуда дал деру в Ригу и еще дальше, на необъятные просторы России. Ищи-свищи! Работал он и бурлаком на Волге, и плотогоном на сибирских реках, огромных, словно опрокинутое мокрое небо, пару лет даже намывал золотой песок. Здесь никто не допытывался о предыдущей жизни чужака, довольно было, что богатырского сложения юноша из какого-то немецкого города Риги на западной окраине империи здорово вкалывал. Жить можно было, и кто знает, может и сложил бы он бревенчатую избушку, взял в жены Дуню или Машу, понаделал детей и на старости лет имел свой угол и покой, но однажды вечером жизнь Фрица Бертудиса вдруг перевернулась, и все полетело вверх тормашками, так, словно он опять, как в мальчишеские годы, дурачась, повис на крыле ветряка, только на этот раз зацепила его и понесла другая, преогромная мельница (кто знает, может это были жернова Судьбы?).

Приключилось вот что. Однажды — дело было в большом городе у большой воды в праздничный день — он с сотоварищи в выходных костюмах, с мятыми рублями в карманах, в приподнятом настроении случайно очутились возле расцвеченного флагами циркового балаганчика и решили взглянуть на чудеса. Канатоходцев, пожирателей огня и шпагоглотателей почтеннейшая публика, как всегда, принимала благосклонно, однако все ждали коронного номера — СИЛЬНЕЙШЕГО ЧЕЛОВЕКА В МИРЕ, как о нем возвещала афиша. Наконец он вышел на ковер, облаченный в полосатую борцовку, встал в позу, выпятив мускулы волосатых рук и ног; под барабанную дробь на арене появились еще три таких же бугая, представленных публике как сильнейшие атлеты аглицкой, ханцузской и мериканской земель. Началась борьба. Сильнейший человек мира уложил на лопатки первого, поборол второго и раскорячил третьего как лягушонка. Когда восторг публики поулегся, из глубины балаганчика выскочил бойкий господин в черном фраке и объявил: тысяча рублей тому, кто победит самого чемпиона!

Тут словно какой-то бес толкнул Фрица Бертудиса под ребро и внутренний голос прошептал — иди вперед, смелей, этот фрукт не такой уж силач, каким выставляется, выучил несколько приемчиков и вся премудрость. И наш Фриц попер!

Он хитровански позволил знаменитому силачу разрядиться,

выпустить пар: пока тот хватал его под микитки, пытаюсь завлечь самоуверенного парня в коварную ловушку, Фриц медленно и тяжело переступал на месте, как таежный медведь. Минуты текли, зрители ревели, чемпион все больше и больше волновался, увалень стал давить и жать соперника, пуская в ход всю накопленную в тяжких трудах силу и ловкость. Вскоре сильнейший в мире человек оказался припечатанным к ковру и даже после того, как противник отпустил его, долго еще лежал неподвижно, словно мертвец. А Фриц Бертулис в тот вечер превратился в циркового артиста Фредерико Бертулло (и возликовал про себя, что теперь сыщикам ни за что не найти следов убийцы урядника, как говорится концы в воду). На следующее утро цирк свернул пестрые полотнища и погрузился на пароход; вместе со шпагоглотателями, заклинателями змей, пожирателями огня, клоунами, жонглерами, канатоходцами, русалками, барабанщиками, попугаями и медведями, со всем этим прыгающим, гудящим, жужжащим, кишашим, свистящим, смердящим роем отправился путешествовать по свету и силач Фредерико Бертулло, бывший Приц Бертулис с батрачкой половины дома «Леясгегери». И потекли годы, и закружились перед ним страны и города пестрой чередой, как прежде по дороге из церкви или кабака оставались за спиной хутора, клетки и баньки родной волости: слева Пиндари, справа Дижлики, в одной стороне Париж, в другой Лондон, большая канава посередине — Ла-Манш, дальше Вецплекская рига, Кузениекская пуща, Мадрид и Лиссабон! Здесь, в этом треклятом Лиссабоне, у большого Атлантического пруда, владелец цирка переплюнул самых ловких факиров и магов и удрал в Америку со всей кассой и невыплаченным жалованием. В отличие от многих других, оставшихся вдруг без гроша в кармане, синьору Бертулло повезло. Как-то в портовом кабаке он купил на последний медяк последнюю кружку пива и только сел за столик, как заметил на себе цепкий взгляд краснорожего быка, который ощупывал глазами его фигуру так откровенно, словно это был не цирковой борец, а проститутка; когда незнакомец пустил в ход еще и руки, Фриц, решив проучить гнусного хлюпика, замахнулся на него, но этот тип, по счастью, добродушно разулыбался и, прогудев признательно «Very good!», пригласил его в свою матросскую кодлу. Такие мускулы, сказал боцман, товар что надо, на них денег не жалко. Нанятый отныне будет Фредом, а не Фредерико, у собак и матросов имена должны быть короткими, не то что там всякие гишпанские СантаЛючияАвеМарияПоркоМадонна Карамба, провалиться мне на этом месте в преисподнюю и пусть боженька прослезится! Последовал такой поток ругательств и проклятий, словно отверстая глотка человекобыка была стожом похабства и матерщины всего человечества; даже многоспытный Фриц ничего подобного в своей жизни еще не слышал. В последующие пятнадцать лет плавания по морям-океанам под флагами самых разных стран Фрицу-Фредерико-Фреду не раз

приходилось прибегать в трудную минуту к перенятому у своего первого боцмана умению сыпать ругательствами, угрозами и проклятиями, ощетиниться, выставить иглы, выбросить, подобно каракатице, защитное облачко. (Приковыляв на родину и сменив в нашем городишке матросскую робу на пиджачную пару, Фриц тоже, бывало, пускал в ход вереницу непонятных слов, но горожане и ухом не вели, разве что Леди иногда считала своим долгом разъяснить присутствующим, что это — фу! — на редкость непристойные слова, лексика подонков общества. Банкир как-то раз осведомился, откуда же благородной даме могут быть известны такие некрасивые словечки — и Леди оставалось только покраснеть и заткнуться, а Фриц по-прежнему мог безнаказанно обругивать на смеси английского, испанского, голландского и дьявол знает какого еще языка тупоголового латышского полицейского и при этом получать массу удовольствия, поскольку фараон был уверен, что старый морской волк произнесит вслух длинный куплет или молитву.)

Воссоздать по путаным-перепутанным осколкам воспоминаний, которым Фриц предавался, лопоча за бутылкой можжевельки, сколько-нибудь связную хронику или хотя бы маршрут его кругосветного путешествия так же невозможно, как из высыпанных в жестяную коробку винтиков, пружинок, гвоздиков, заклепочек, шайбочек, колесиков и прочей мелочовки вновь собрать часы или швейную машинку. Но кое-что составить все же можно: например, увязать часто повторяющийся рассказ о приключениях в странном парижском публичном доме с внезапным появлением Фрица лет примерно через десять в кругах голландских нуворишей.

В Париже дело было так. Шастал он по этому Вавилону, пока его не осенило: если он, синьор Фредерико Бертулло, или Приц Бертулис с хутора «Леясгегери» Окстской волости Курляндской губернии Российской империи, немедля не посетит заведение, над входом в которое красуется красный фонарь, что же интересного сможет он когда-нибудь рассказать своим детям и внукам? Вошел. Мадам тотчас ему альбомчик с фотографиями Фи-Фи, Лу-Лу, Мяс-Мяс и прочих мамзелек, да такими искусными и откровенными, словно снимал сам маэстро Бинде\*. Выбрал наш Приц Бертулис блондиночку подороднее, чтобы чуток напоминала Минну из «Калнагегеров», которую он когда-то тискал под крышей сенного сарая во время сенокосной толоки. Минной звал он и эту француженку в тот часок, что незаметно пролетел в залитом розовым светом кабинете, но барышня не обижалась. По выходе из кабинета Фриц как человек честный и порядочный собрался было расплатиться с хозяйкой заведения, но та объяснила, что уважаемый мсье не только не должен платить, но и ему самому причитается гонорар — и вручила конверт. На улице раскрыл и глазам своим не поверил — вот

---

\* Гунар Бинде — известный латышский фотохудожник. (Прим. перев.)

это сумма! Пересказал происшествие товарищам в цирке, и тут один из циркачей, спросив адрес заведения, стал так неудержимо хохотать, что из глаз брызнули слезы. Неужели простодушный Фредерико действительно не соображает, что забрел не в обыкновенный бордель, а в особый, где старички следят за происходящим через специальное смотровое окошко, пуская слюни; чем интереснее зрелище, тем выше сумма, оставаемая хозяйке; участие в этом представлении российского Геркулеса, очевидно, доставило особенно большую радость какому-то малахольному миллионеру.

Гляньте, вон он стоит, грудь колесом, выпятив бицепсы, взгляд ястребиный, как у чучела, очаровательные короткие нафабранные усики, богатырь, ломающий кости силачам и разбивающий дамские сердца, знаменитый ФРЕДЕРИКО БЕРТУЛЛО — вон там, на засиженном мухами фото на комодe! Субботний вечерний гость, очередной хлебун можжевелевого пойла, смотрит недоверчиво и ухмыляется: мол, что ты, Фриц-говночист, заливаешь, никакого сходства, верно спер где-нибудь это фото со всей рамкой красного дерева впридачу или на чердаке нашел! А Фриц думает: примерно таким вот бравым молодцем предстал я перед госпожой Дюпендейк.

Встреча состоялась, когда наш атлет, цирковой артист и морской волк пребывал в длительном и безнадежном засушливом периоде, как он сам именовал черные полосы в своей жизни. В кармане ни гульдена, в животе бурчит, как в лягушачьем пруду на хуторе «Леясеггери» летним вечером, а ноги сами выводят нищего бродягу с амстердамской окраины на пыльную проселочную дорогу. Глазами зыркает налево, направо, надеясь — как в былые дни в богатой курземской сторонке — приметить ягоду или гороховый стручок, сейчас бы опустился на четвереньки и стал жевать траву. Отмахав три, а может, пять верст, Фриц заметил вдали стоящую на дороге не то подводу, не то повозку и несколько человеческих силуэтов вокруг; подошел поближе — оказалось, бричка опрокинулась в кювет, низенький, толстенький, похожий на тролля человек возится со сломанными оглоблями и лопнувшими постромками, да, видно, неумело, а поодаль, повернувшись к рохле спиной, стоит дама в пышном лиловом и таком прозрачном, если глядеть на свет, платье, что у Фрица-Фредерико-Фреда, долго не навещавшего Лу-Лу и Мяу-Мяу, сразу пересыхает во рту. «Guten tag, mademoiselle!» — окликает он даму. Роскошная, украшенная страусовыми перьями шляпа медленно поворачивается, и взгляду Фрица предстает такое старческое морщинистое лицо, что у него громко вырывается по-латышски: «Старая ж..!». Решив, что прохожий ей представляется, госпожа слегка наклоняет голову и в свою очередь ставит его в известность, что ее зовут Аннемария Дюпендейк. Может быть, молодой человек смыслит в лошадях и упряжи? О да, мгновенно отзывается Фриц, когда-то в Париже, рядом с собором

Парижской богоматери, он держал свою конюшню. «Конюшню?!» — удивленно и радостно восклицает старая дама так, словно незнакомец — а он недурен собой, хотя на нем тельняшка и поношенная роба, — сообщил ей, что ему принадлежит стадо африканских слонов или нечто в этом роде. От восторга у Аннемарии даже глаза заблестели (так утверждает субботним вечером предающийся своим старческим воспоминаниям Фриц-говночист). А после того как он, отхватив финкой от кожаных вожжей пару лоскутов, связал ими и оглобли и постромки и впридачу вытащил на дорогу, словно детскую коляску, опрокинувшуюся в кювет тяжелую кибитку, глаза Аннемарии уже излучали непрерывный свет, как бортовые огни идущего в ночи парохода. Чтобы вся эта love story (с точки зрения пожилой богатой дамы, разумеется) чересчур не затянулась, скажу только, что в ее продолжение овдовевшая владелица небольшого поместья и конного завода Аннемария ван Дюпендейк приняла расторопного, такого могучего и столь видного собой немца из России или русского из Германии (ей все одно) управляющим конфермой, а вскоре и всем хозяйством (рохле троллю, естественно, был выдан волчий паспорт). И вот Приц Бертулис ест жаркое и пьет вина, которые в старину ел и пил барон — владелец Окстской мызы, в сущности и он теперь (ха, ха!) фон барон, жаль только, что неофициальный; ну и в спальню Аннемарии, когда на нее находит поэтическое настроение, приходится проникать тайком, чтобы не увидели другие слуги и не вышел конфуз. Честно говоря, эта обязанность для Фрица тяжкая ноша, он задумает все зажженные Аннемарией свечи и, обнимая старую перечницу, мысленно представляет себе Минну из «Калнагегеров» на верхотуре сеного сарая — да поможет ей бог там, на родине, как она сейчас, в трудную минуту, помогает своему первому жениху здесь, на чужбине!

Пять лет барской жизни пролетают как во сне («The best years of my life»). Он продает, покупает и случает жеребцов и кобыл, играет на тотализаторе, играет в карты, наслаждается тонкими яствами и винами. Но тут вдруг на госпожу Дюпендейк нападает жестокая и неизлечимая болезнь. Со всех концов, словно тараканы из щелей, выползают на свет ближние и дальние родственники, предвкушающие близкий конец богатой владелицы и рассчитывающие урвать кусок наследства пожирнее. Аннемария, перед тем как уйти в лучший мир, откальвает скандальный номер: оскорбленная госпожа из чувства противоречия завещает все свое состояние управляющему хозяйством Фредерику Бертулло, как написано черным по белому в завещании. Ненависть близких покойного к этому перекати-поле и плебею проявляется как в открытой, так и в скрытой форме (например, в подпиливании свай у мостика через канал). Фрицу вся эта возня до того осточертела, что он решает со всей мошной податься на родину, где теперь, судя по газетным сообщениям, самостоятельное государство.

По роковому совпадению Фриц вернулся в наш городок, как и оставил его, в базарный день на святого Михаила. Был он в черном фраке и пьян как стелька, вешался всем на шею и требовал признать, кто он есть таков. Разумеется, никто больше не признавал в нем сбежавшего много лет назад батрака с хутора «Леясгегери». Не дождавись радостного изумления толпы по поводу возвращения блудного сына, разъяренный Фриц вскочил в чью-то телегу и, не обращая внимания на ворчание ее хозяина — пожилого крестьянина, взобрался еще выше, на дощатую клетку, в которой хрюкала растревоженная свинья. Теперь-то он чувствовал себя, как те великие говоруны из лондонского Гайд-парка.

— You, Latvian rats! — прорычал он, однако эти остолопы не разобрали, что, собственно, сказал господин в черном. Перейдя на порядком позабытый родной язык, Фриц оповестил окружающих, что они есть жалкие латышские крысы и последнее дерьмо. Но почувствовав, что скудный набор латышских ругательств столь же мало приперчен и посолен, как и латышские пресные каши, он выплеснул на головы своих соплеменников несколько порций из своих неисчерпаемых международных запасов; пока низвергались английские и испанские водопады, блюститель порядка только глаза тарачил, но едва оратор вставил в свою речь русскую матушку, как человек в униформе приложил к губам свисток и вдобавок объявил, что за употребление бранных слов в публичном месте придется платить денежный штраф. Упоминание о деньгах было подобно спичке, поднесенной к канистре с бензином: Фриц, заржав так, словно в него вдруг вселился один из породистых жеребцов с фермы Дюпендейк, бросил в лицо этой голи перекатной, что денег они и в глаза не видывали; порывшись в большой дорожной сумке, он швырнул в полицейского кучу латов и долларов! Снова размахнулся и бросил в толпу следующую пачку денежных знаков, потом еще, и еще, и еще — по ветру, по-над головами базарного люда.

Чтобы лучше представить себе, что было дальше, вообразим, что весь этот эпизод кто-то снял скрытой кинокамерой, и рассмотрим повнимательнее отдельные стоп-кадры. Пожилой джентльмен на постаменте, делающий властный жест рукой, не дирижер (хотя на нем фрак), не скульптура дискобола, не памятник выдающемуся полководцу, а просто Фриц из здешних мест в момент швыряния денег, что же касается постаamenta, то это уже упоминавшаяся дощатая клетка с узницей — хрюкающей свиньей. На ближнем плане хорошо видно, что рыло у нее перекошено, значит она не просто недовольно похрюкивает, но отчаянно визжит. Встревоженное повизгивание читается и на лицах многих торговцев, хотя по отношению к людям правильнее было бы говорить о криках или воплях. Обратим внимание на руки: они воздеты к небу, как у богомольцев; если взглядеться пристальнее, мы увидим, что пальцы растопырены и



скрючены точь-в-точь как когти хищных птиц. Множество мелких точек над толпой на общем плане — это не бабочки, а летящие по ветру латы и доллары. Представляют интерес и запечатленные на средних планах бытовые сценки, вот хотя бы дядюшка в сером армячишке — ловя свернутую банкноту, он потерял равновесие и упал в соседскую корзинку с яйцами, а соседка, рассердившись, напялила ее жадному увальню на голову. Человек в униформе с надутыми щеками и не музыкант вовсе, потому что, если приглядеться, он дует не в кларнет, а в свисток, как уж персоне официальная. На этом стоп-кадре мы можем органично завершить рассказ о первом дне пребывания на родине нового латвийского подданного Фрица Бертулиса, остается только добавить, что на три денечка и три ночи захлопнулись тогда за спиной соотечественника двери кутузки в местном полицейском участке. Найдя, по счастью, во внутреннем кармане фрака, сшитого лучшим мужским портным Амстердама, несколько завалевшихся банкнот, Фриц уплатил небольшой штраф за нарушение спокойствия и порядка, а на оставшиеся деньги снял квартиру и купил пару породистых лошадей, в почин задуманному конному заводу европейских масштабов.

После той сумасшедшей кутерьмы на базаре, как говорится, много воды утекло, в том числе и в речке, что течет через наш городок. Фриц не только не основал свою конеферму, но понемногу превратился в золотаря, возчика смердящей бочки, и нажил кличку Фриц-говночист. «Вот что, Фриц, твое счастье, что ты успел спиться, — якобы сказал ему в тысяча девятьсот сорок девятом году главный в городе человек Балагурс. — Иначе был бы ты капиталистом, и нам бы пришлось теперь отправлять тебя в Сибирь!» Разговор этот происходил не в кабинете Балагурса под портретом Иосифа Виссарионовича Сталина, а в комнатенке Фрица-говночиста под не менее внушительных размеров портретом Фредерико Бертулло, за бутылкой можжевельники, и заглянул сюда гебист просто мимоходом, а потому хозяин выложил как на блюдечке (верно, единственный во всем уезде) все что было у него на уме. Политика, сказал Фриц, еще более дерьмовое занятие, чем копанье в выгребной яме, и каждый политикан большее дерьмо, чем самая распоследняя грязная гамбургская шлюха, та по крайней мере не старается выдать белое за черное и черное сделать белым. Во времена Ульманиса его пытались изобразить борцом за свободу Латвии, который своими руками уничтожил один из оплотов российского самодержавия — господина урядника и был за это сослан; в сороковом году большевики хотели записать его в участники классовой борьбы (бедняк-батрак отомстил защитнику власти плутократии); спустя несколько лет шуцманы поставили его к стенке и хотели расстрелять только за то, что он тайком носил хлеб русским пленным, и прикончили бы как пить дать, если бы среди этих живодеров не очутился его родственник, правда седьмая вода на киселе; еще через пару годков к стенке были

готовы поставить его русские, которым эти латышские крысы в первый же день донесли, что он якшался и даже находился в родственных отношениях с немецкими прислужниками шуцманами, — хорошо еще, что в последний момент к этим русским прибежали те русские, которым он давал хлеб, и эти его отпустили. Балагурс недоверчиво его выслушал и под конец заявил, что по Фрицу Сибирь плачет хотя бы за то, что он, сволочь, не только побывал на Западе, и не в одной стране, но (и это хуже всего) был там буржум! Но увы — нельзя оставлять такой большой населенный пункт без — и это чистая правда — добросовестного и старательного золотаря. Так бывший голландский нувориш остался в нашем городишке, который той осенью стал районной столицей; Фриц получил официальный титул ассенизатора, а его (скажем так) цистерна была оснащена красным фонарем. От своего буржуазного прошлого он сохранил любовь к красивым лошадям и изысканное умение пользоваться при еде ножом и вилкой, даже если на закусочной тарелке рядом с бутылкой эрзацджина была одна лишь селедочная голова и кость. Наследием его моряцкого прошлого несомненно было знание многих языков и ругательств. Сомневаюсь, имелся ли где-нибудь в Латвии столь высокообразованный ассенизатор. Вычерпывая яму под особняком профессора Ланцберга, основавшего когда-то нашу городскую больничку, Фриц беседовал с хозяином по-французски и тем самым доставлял многоуважаемому седовласому (точнее, безволосому) старцу массу приятных минут, когда он мог отдаться нахлынувшим воспоминаниям о годах учебы далеко за пределами нашей страны; с вечно молодыми, размалеванными от губ до ушей барышнями Фейерабенд, близняшками немками, наш простой труженик, обслуживая их какенхаузен, спокойно изъяснялся на языке Шиллера и Гете. В пятом классе нас стали учить английскому, однажды по дороге домой, увидев работающего в нашем доме Фрица, я решил испытать на практике прославленного полиглота, а заодно проверить и свои знания. «You are . . .» — громко начал я. Фриц как будто задержал в руках подвешенное к длиннющему шесту ведро и заинтересованно поднял голову. «Big pig!» — прокричал я окончание фразы и едва успел отскочить в сторону: в ответ на «большую свинью» вонючая черпалка томагавком просвистела у меня над ухом. Я давно уже спрятался в зарослях нашего сада, а Фриц все продолжал сыпать ругательствами, которые вылетали у него изо рта, как шершни из растревоженного гнезда. Значения доносившихся до меня слов я не понимал, знал только то, что ничего хорошего они означать не могут. Пришлось сделать вывод, что английским языком этот противный старикашка действительно владеет.

Вполне возможно, что некоторые читатели уже брезгливо морщатся и брюзжат: неужели, мол, кроме таких насквозь отрицательных типов, автор не припомнит ни одной светлой личности из этого городочка сталинской эры? «Свилеватые деревья

не забыл, — сказал бы я, — а ровных и правильных стволов столько, что не упомнить». Свилеватые, с вывихом ребятам одновременно и пугали, и притягивали, над странноватыми субъектами взрослые подтрунивали, насмехались, издевались, и кто его знает — может быть, в глубине души испытывали к ним странную зависть, потому что сами были уныло-одинаковыми, серыми и гладкими, как растущие кучно ольховые кусты. И если подумывать хорошенько, имеем ли мы право подразделять людей так же грубо и просто, как прежде сортировали инкубаторских цыплят: нужных курочек — в одну сторону, в аккуратный ящик, бесполезных петушков — в другую, в бочку с водой, хороших людишек — направо, плохих — налево? Куда же в таком случае отнести человека, которого в нашем городке все величали не иначе, как Полукрумншьем.

По-моему, самое подходящее место, где мы могли бы познакомиться с этим человеком, — газетный киоск; он поставлен на рыночной площади примерно там, где согласно легенде Фриц-говночист швырялся деньгами, аккурат против божьего храма и досконально известного нам столба с большим репродуктором. Он возобновил свою работу, едва рассвело; отыграл оба гимна: сначала государственный страны, потом государственный республики, отговорил последние известия. (Между прочим, ежедневно проходя мимо репродукторного столба по дороге в школу, я никак не мог взять в толк, почему известия последние, иногда меня вдруг охватывал беспричинный страх — я представлял себе, как над рижским радиодомом кружит знаменитая американская летающая крепость Б-29 со всей ихней атомной бомбой.) Прозвучало традиционное бодряческое «Доброе утро, товарищи! Приготовьтесь к утренней гимнастике!» и весело забренчал рояль. Настырный тенорок приглашает к легкой пробежке — жители нашего городка спорой рысью бегут в уборную; призывает присесть на корточки — мы и присаживаемся, чтобы обуться или растопить печь; предлагает поднять и опустить руки — мы их поднимаем и опускаем, надевая рубашку или свитер; наскоро перехватив жаренной на маргарине картошки и запив великолепным ячменным кофе «Народный», легкой трусой, пружинящим шагом, ритмично чередуя вдох-выдох, несемся на работу или учебу. Со всех сторон нас обдаёт звуками утреннего концерта. Мы за мир и песню эту пронесем, друзья, по свету! Партизанка-молдаванка собирает виноград... Хороши весной в саду цветочки, еще лучше девушки весной! Когда взойдешь на Ленинские горы... А помирать нам рановато — есть у нас еще дома дела! Ты, сосед, решай вопрос: и вступай скорей в колхоз! Улица, улица, ты, брат, пьяна!

А теперь обратите внимание на личность, которая под звуки прекрасной и содержательной музыки приобретает в киоске газеты, притом в строго определенной последовательности: сначала центральные издания, потом республиканскую печать и наконец районную газету, конверты и марки. Да, это действительно

Полукруминьш, как все тут его называют, чья настоящая фамилия Круминьш — Екаб Матисович Круминьш, но, долго живя в России, он превратился в Якова Матвеевича Крумина. Если вы обратитесь к нему «товарищ Круминьш», он сердито поправит: «Крумин! Без мягкого знака! и без — ш!» Такого общипанного Круминьша местные зубоскалы и стали называть Полукруминьшем, и это прозвище настолько привилось, что многие считают его фамилией. (Как-то одному рижскому газетчику, который, выслушав и засняв передовых тружеников нашего района, поинтересовался также славными борцами за правое дело, посоветовали непременно заглянуть к Полукруминьшу. Корреспондент обрадовался, скорехонько разыскал старика в его мансарде, тот любезно угостил рижанина чаем из настоящего самовара, но вскоре огрел тростью по спине и спустил с лестницы, так как газетчик, раскрыв блокнот, наивно произнес: «Скажите, товарищ Полукруминьш...»). Пока товарищ Полукруминьш сидит на скамеечке под деревьями церковного сада рядом со столбом, на котором висит громкоговоритель, и ушами воспринимает «Щелкунчика», а глазами — печатные издания (сначала центральную, потом республиканскую, а под конец местную прессу), мы можем незаметно изучить его внешность. Старик высок и худощав, как сушеная вобла, но сгорбленный и сидит втянув голову в плечи, словно опасается расшибить лоб о дверной косяк (он и ходит так же). Годы и заботы проели ему плешь, окаймленную белыми волосиками, дрожащими на ветру, как одуванчиковый пух. На выдохшем, угрюмом, никогда не улыбающемся лице совершенно не к месту молодого блеснят, словно избежавшие тлена, выпуклые, крупные глаза — в этом смысле голова Полукруминьша напоминает головку шелестящей стрекозы. Описание одежды старика нас не затруднит, так как в те годы мужчины, если не считать военных и тех, кто носил традиционный сталинский френч, ходили или в темно-синих или в темно-коричневых двубортных костюмах в полосочку; Полукруминьш одет в темно-синий, потому что коричневый (все же, все же!) считается несколько более пижонистым и подходит скорее главбуху потребсоюза, чем ветерану революции. Тут мы незаметно подошли к самому существенному: к биографии Екаба Матисовича Круминьша, или Якова Матвеевича Крумина.

Родился — тут же: по сей день километрах в десяти от городка на обочине дороги, на вершине холма стоит основательный хутор с каменными строениями и столь же основательным названием «Лиелкрумини». Теперь там совхозный центр, и многие нелатыши, будучи не в состоянии запомнить и выговорить такое сложное слово, стали называть это место так, как оно звучит в переводе на русский язык — «Большие Кустики». «Вишь, Круминьш, до чего ты со своей революцией довел родной отцовский хутор!» — не прочь кое-кто уязвить Круминьша (особенно если принял слегка на грудь в Зеленой Барже, как окрестили в городке буфет, оборудованный в продолговатой, вы-

крашенной в зеленый цвет дощатой хибаре). Тут Круминьш буреет и, рассекая воздух тростью, словно шашкой, гневно отчеканивает: «Это осиное гнездо надо было разрушить до основания!» Если подвернется под руку былинка или цветок — только трость просвистит и нет их. Собеседник думает, как бы поскорее улизнуть от страшного Полукруминьша. Ничего святого у человека за душой. Тому, что круминьский Екабок так далеко укатился от родной яблони — богатейшего во всей округе рода, — никто, впрочем, особенно не удивляется, ибо в нашем небольшом краю за последние несколько поколений привычным стало, что сын идет против отца, а брат — войной на брата. Младший сын хозяина Лиелкруминей Матиса Круминьша — Екаб во время учебы настолько развратился чтением вредных книжонок, что в девятьсот семнадцатом унесло его со стрелками в Россию и там он и остался, за все годы не написав домой ни единой строчки. Тем временем остальные четыре брата переженились на состоятельных хозяйских дочках, строили просторные коровники и свинарники, вступали в ряды айзсаргов и с ружьями за плечами разъезжали верхом по всей волости — новоиспеченные бояре новоявленной Латвии. Когда в сорок первом году в Латвию, ставшую советской республикой, вторглась запряженная взбесившимися гитлеровскими жеребцами боевая колесница, братья Круминьши вместе с другими настоящими латышами (будто и не они еще совсем недавно дерзко показывали язык не только русскому Красному дракону, но и немецкому Черному рыцарю) поспешно взобрались на германскую повозку. И, удобно в ней устроившись, расправились сначала, конечно, с оборванцами, которые в прошлом, советском году осмелились покуситься на их земельные наделы, а затем зарезали местечкового лавочника, кудрявого брюнета, вместе с женой и детьми, хотя многие годы по-приятельски у него закупались, чего уж там, раз новые хозяева объявили все его племя подлежащим уничтожению корнем всех мировых бед. Из этой повозки хозяйские сыновья с хутора «Лиелкрумини» больше не выбрались, а она, как известно, все стремительнее катилась в ад. Кости одного брата — легионера — гниют сегодня где-то на Волховских болотах, второй в последнюю минуту успел ударить в Швецию, третий подался в бандиты и был расстрелян в первую послевоенную зиму, четвертый вместе с отцом и матерью был выслан в Омскую область, мать — старая хозяйка «Лиелкруминей» — по дороге умерла и второпях похоронена где-то на обочине Транссибирской магистрали. А младший брат Екаб, как мы только что видели, сидит в центре городка своего детства на скамеечке и просматривает утренние газеты. Он не был здесь около трех десятилетий и лишь в прошлом году объявился. Говорят, занимал высокий пост где-то на Украине, как будто был осужден и вернулся из заключения — никто толком не знает, а сам блудный сын так ничего и не рассказывает. Под ласковым ветерком шуршат в слегка дрожащей старческой

руке полосы «Известий», вздымается одуванчиковый пух вокруг ушей и на затылке. Рядом с ним складная, в клетку доска, к скамейке прислонена трость — он обопрется на нее, когда будет уходить, — одна нога у старика не сгибается.

Полукруминыша все боятся. Опасность прежде всего исходит от той самой штуkenции — сейчас вы сами в этом убедитесь: Полукруминыш уже отложил в сторону газеты и зорко наблюдает за окрестностями, точь-в-точь ястреб на столбе, высматривающий жертву среди мелких пташек. Заметив знакомого, ползнакомого или как будто знакомого человечка, он подзывает его, высыпает из коробки белые и черные фигуры — королей, ферзей, офицеров (так он на старый манер именует слонов) и прочую рать и приглашает сыграть с ним в шахматы. Если несчастный умеет в них играть (а таких в нашем провинциальном городке не много), он пропал, потому что от Полукруминыша теперь ему не уйти. Если же прохожий в шахматы не играет или притворяется, что не умеет, он все равно пропал: никуда не торопящийся пенсионер предлагает товарища научить. Коли за весь день не было улова и приходится куковать у ковчега в клетку одному, Полукруминыш подчас идет на компромисс и соглашается аристократическими шахматными фигурами играть в эти идиотские шашки. Правда, одного типа великий маэстро с места в карьер прогнал ко всем чертям и даже пытался использовать не по назначению свою трость: тот ничтоже сумняшеся заявил, что шашечная игра выше шахматной, так как шашками можно по крайней мере пощелкать «в Чапаева».

И все-таки, если подумать, шахматная мания куда меньшее несчастье в сравнении с пристрастием Полукруминыша к посещению абсолютно всех мероприятий, торжеств, спектаклей и собраний, где он во что бы то ни стало должен выступить. О ужас, — эти выступления обычно превращались в длиннейший доклад, но прервать Якова Матвеевича Крумина никто не осмеливался: во-первых, слишком важная персона, старый революционер, пусть даже с какими-то изъянами в биографии, во-вторых, любая его речь становилась неприкосновенной ввиду железобетонного введения (попробуй прерви!): «Как правильно указывает товарищ Сталин, большое значение имеет... — Если выступление происходило на открытии выставки георгинов, оратор продолжал: «...развитие цветоводства»; на стадионе перед соревнованиями: «...развитие физической культуры и спорта», а на школьном вечере, разумеется: «...воспитание подрастающего поколения». Никому и в голову не пришло бы проверить, где и в какой связи давал товарищ Сталин подобные указания — очевидно, докладчик лучше знал труды вождя. В продолжении соответствующая тема рассматривалась в хронологической последовательности, начиная с античности и кончая светлой современностью. К тому времени, как оратор-марафонец добирался до Пятого года, из зала успевали исчезнуть все, кто только мог, мы, мальчишки, коротали время, покурявая

в густом жасмине, кусты которого в изобилии росли в нашем школьном саду. Полукруминьш, думали мы, верно дошел уже до Великой Отечественной, но посланный нами разведчик возвращался с дурными вестями: нет, только до столыпинской реакции — этак нам сегодня танцев не видать!

Мне не кажется, что Полукруминьш своими водянистыми речами, состоявшими из общеизвестных, содержащихся во всех газетах и учебниках фактов, хотел специально уморить молодежь и испортить ей настроение — старик, видать, был искренне убежден, что проводит благотворную воспитательную работу. Но, случалось, Екаб Круминьш (пусть земля ему будет пухом) поступал по-свински, обижая людей не из высоких побуждений, а нарочно, чтобы подгадить. Как, скажем, в тот же Иванов день, который некоторое время считался прекрасным праздником трудового народа, испокон веков отмечающего Лиго, а потом вдруг, словно высшее начальство какая муха укусила, был объявлен сборищем пьяниц, рассадником алкоголизма и очагом нездоровых настроений, способствующих противопоставлению латышей другим народам. Независимо от официальной точки зрения, каждый уважающий себя латыш — и жители нашего маленького городка тут не составляли исключения — стремился на вечер Лиго выбраться на природу, посидеть у костра, а в худшем случае по крайней мере дома поставить в кувшин традиционный пучок травы и букет полевых цветов или душистую ночную фиалку и послушать радиоспектакль по пьесе Блауманиса «Дни портных в Силмачах», но уж никак не проводить такой вечер в душном и пыльном кинозале. Работники кинотеатра, прекрасно это зная, обычно ставили в программу на вечер Лиго какой-нибудь высокоидейный, но совершенно некассовый фильм, чтобы отменить затем сеанс из-за отсутствия зрителей и самим уйти праздновать Лиго. За пять минут до начала первого сеанса в кинотеатр прихрамывая входил Полукруминьш, неспешно, пересчитывая копейки, покупал билет в третий ряд, где подешевле и лучше видно, и многозначительно, с плохо скрываемой угрозой в голосе заявлял, что эту картину следовало бы посмотреть каждому жителю города... Правилами дозволялось не показывать фильм одному-единственному зрителю, но оцепеневшие от ужаса работники кинотеатра, пошептавшись, решали сеанс не отменять, поскольку этот один-единственный считался опаснее целого отчаянно свистящего и топающего ногами зала: доложит Балагурсу, напишет в Ригу, в Москву, как пить дать пришьет буржуазный национализм! Откатав картину, механики собирались уже задать стрекача и ждали только, чтобы этот полоумный старикашка проковылял к выходу. Ан нет, Полукруминьш уже стоит у кассы в полном недоумении — как же так, отчего закрыто, когда вскоре согласно афише должен начаться второй сеанс. Ему, понимаете, фильм так понравился, что он бы хотел посмотреть его еще раз. (Губы старика тронула едва заметная, легкая

усмешечка, но, может быть, киномеханику это просто почудилось.) Кассирша, как выясняется, давно ушла и директора нигде нет. И вот в Иванову ночь Круминьш-Круммин вынужден, сидя в своей мансарде, сочинять жалобу на городской кинотеатр, где свили гнездо халатные и политически враждебные нашему строю элементы. В конце письма следовала приписка, что в зале сильно пованивает туалетом и потому во время сеанса ему неоднократно приходилось менять кресло.

Полукруминьша боялись все, включая свое начальство — городское и районное. Пока многие начальники вырывали друг у друга квартиры побольше и получше и полированные мебельные гарнитуры, этот старикан публично отказался от предложенных ему королевских апартаментов в национализированном доме аптекаря и демонстративно поселился в плохо отапливаемой чердачной дыре. Он был у них бельмом на глазу. Однажды под Новый год Полукруминьш заявился в детский сад, достал из авоськи два странных фрукта, похожих на какие-то чешуйчатые бураки, и спросил детишек, знают ли они, что это такое. Никто не знал, нянечки тоже. Не ко времени пришедший Дед Мороз объяснил, что это а-на-на-сы и он дарит их детям, и вскоре точно такие же фрукты принесут сюда и другие ответственные товарищи, которые втайне от остальных жителей города организовали бог знает что за спецобслуживание. Понемногу назревал скандал, однако Яков Матвеевич и первому секретарю сказал в глаза то же самое: «Я не для того боролся за Советскую власть, чтобы искать привилегий, и вам этого не советую!»

Когда странный старик помер, в городке только и разговоров было что о его завещании. Читальне районной библиотеки Круминьш завещал два самых дорогих для него предмета: самовар и шахматный комплект. Судьбу трости ее владелец не определил. Еще в скромной келье обнаружилась общежитская железная кровать, стул и стопка книг на широком подоконнике, служившем старику столом. Среди документов привлекала внимание фотокарточка молодой и очень красивой брюнетки, к ней был приложен адрес в далеком городе с незнакомым названием, по этому адресу и следовало отправить потрескавшийся и пожелтевший снимок «в случае смерти Крумина Я. М.». Это все.

Впоследствии, когда мне приходилось видеть складную шахматную доску с поцарапанными, обшарпанными деревянными королями, ферзями, конями, я всегда невольно вспоминал Полукруминьша — хмурого старика с физиономией как сушеная вобла, и блестящими, казавшимися не к его лицу, выпуклыми стрекозьими глазами. Но дерево повсеместно было вытеснено пластмассой, прежние лица — новыми, и, пожалуй, этот человек навсегда бы выветрился из моей памяти, если бы много-много лет спустя, раскрыв как-то газету, я не застыл в изумлении, пораженный так, словно в ночи сверкнула молния. Да, это был он — стре-



kozy глаза, все тот же блеск, только лицо не как сушеная вобла, а гладкое и молодое. Высокий, ладный, в красноармейской форме, с шашкой на правом боку. Подпись: Екаб Круминьш. Казань. 1918 год. То, что было написано о нем в статье, в первый момент показалось невероятным, невозможным, неужто человек может столько вынести, пережить, испытать?

Удар деникинцев направлен на Москву, другие части Красной Армии, не выдержав адского давления противника, отступили, только латышские стрелки не ушли с позиций — они или остановят отборную белогвардейскую лавину или сложат головы за первое в мире государство справедливости. Пули и осколки проделывают все больше и больше брешей в рядах обороняющихся, в одном месте белые вот-вот прорвут фронт. Здесь, среди одного-двух десятков живых и раненых, и Екаб Круминьш. В полутьме, в непроглядном дыму он принимается громко выкрикивать команды не только несуществующей первой роте, но даже второй и еще пулеметному взводу, на короткое время организуется частый огонь из единственного уцелевшего пулемета, миномета и нескольких винтовок. Вражеские командиры попадают на удочку: какое-то смятение, какие-то колебания, атакующая цепь выжидательно залегла в траве. На опасный участок к стрелкам успевает подойти пополнение — и чаша весов понемногу склоняется на их сторону. Другой случай. «Латышей в плен не брать!» Окруженных стрелков белогвардейцы загнали в сарай, поставили два пулемета и косят ряд за рядом; brave рижские ребята, прошедшие сквозь огонь и воду, падают как подкошенные один за другим, штабелями. Ночью Екаб Круминьш приходит в себя, осознает, что жив, выбирается из груды трупов и после нескольких суток скитаний по занятым белыми деревням выходит к своим, окровавленный и обессиленный. Екаб Круминьш работает директором крупного металлургического комбината, жена у него украинка, красивая брюнетка, и двое детей. Тысяча девятьсот тридцать седьмой. Представители первого в мире государства справедливости объявляют Екаба Круминьша врагом Советской власти (социальное происхождение: из латышских кулаков; все пятнадцать лет пребывания в СССР фактически шпионил в пользу буржуазной Латвии). Екаба Круминьша арестовывают, о его дальнейшем местонахождении ничего неизвестно, жене вежливо предлагают публично отречься от мужа — предателя пролетарского дела, а когда она отказывается, отправляют в лагерь, только в другой, на несколько тысяч километров дальше, детей же отнимают и помещают в воспитательный детский дом на государственное обеспечение. Переписка и свидания запрещены.

Статья потрясла и смутила меня отнюдь не тем, что в ней описывалась человеческая трагедия, — о подобных трагедиях я читал и раньше, а в последние годы все чаще и чаще, — но потому, что место на пьедестале памятника предназначалось —

кому? — Полукруминьшу, тому самому Полукруминьшу, над которым смеялись все мальчишки и девчонки и которого ненавидели все взрослые нашего городка. Я только одному не поверил — заключительной оптимистической фразе о том, что Екаб Круминьш вышел из всех испытаний несломленным. Видимо, человека можно сломить по-всякому. Можно, например, сделать его злым. Чтó бы чувствовали вы, скажите, если бы вашу семью разрушили так же беспощадно и жестоко, как зверь разоряет птичье гнездо, и вот в праздничный вечер Лиго вам пришлось бы сидеть одному в своей мансарде, невольно прислушиваясь, как *те там*, разбившись на весело хихикающие парочки или, громко смеясь, всей семьей, вместе с детишками направляются на берег реки? Может, и у вас бы ядовитым соком подступила к горлу дьявольская смесь зависти, досады и раздражения и в душе расцвел бы благородный цветок взыскующей принципиальности, поднесенный под нос несознательным работникам кинотеатра в Иванов вечер? Человека можно сломить и сделать его посмешищем в глазах молодого поколения, превратив его в попугая или патефон. Старый Круминьш — живой герой волнующего и увлекательного романа — повторял как попка и крутил как заезженную пластинку свои бесконечные водянистые речи, усыпанные цитатами из трудов нашего отца и учителя, и никому даже в голову не приходило, что тех мальчишек, которые убегали из зала покурить в кустах, он ведь отвращал от знамени...

На уроках истории нам тогда рассказывали о стычках добрых и любимых всеми народами русских князей с плохими и подлыми литовскими кунингами и татарскими ханами; о латышских стрелках нам и не заикались, и в учебниках об этом не было ни слова. В нашей школе почти в каждом помещении висели картины, причем работы одного и того же мастера, расписавшегося в уголке закорючкой, начинавшейся с буквы В. Но никто об этом таинственном В. ничего не спрашивал, и даже если задавали учителю вопрос, то ответ был невнятный и уклончивый и педагог снова переходил к рассказу о картинах передвижников. Я как сейчас помню свой класс и на стене картину — залитый солнечным светом ярко-зеленый двор с поленницей в углу, белыми курами и большим цветущим каштаном; когда ты, дитя человеческое, переминаясь с ноги на ногу рядом с учительским столом, о чем-то умно рассуждаешь и борешься за свой законный трояк, твой взгляд обшаривает изображенный на картине двор вдоль и поперек, как будто там спрятался ловкий подсказчик; на свободном уроке, бывало, метишь в девчонку тряпкой для мела и попадаешь — шлеп! — прямо в раскидистый каштан.

А на городской окраине, где сосны росли уже во дворах, жила в невзрачной лачуге старая женщина, которую мы прозвали Козлятницей, поскольку она держала и пасла тут же на опушке леса нескольких коз с козлятами, ходила по грибы и

вообще нам, пацанам, казалась полоумной, может быть потому, что так считали почти все жители городка. Иногда мы подкрадывались из лесной чащи к самому домику и смотрели, как Козлятница склонилась над какой-то сколоченной из реек штуковиной и что-то малюет на куске картона, во всяком случае так именовали ее никчемное занятие нормальные люди. Набрав кучу шишек, радость-то какая, мы швыряли их на жестяную крышу с шиком, по такой плавной дуге — полоумная Козлятница со всем своим малеваньем поспешно укрывалась в доме. Даем стране угля, радовался я тогда. Прошла целая вечность, Козлятница со всем своим белым выводком переселилась на лучшие пастбища, лачуга ее рухнула под напором бульдозера, так как именно в этом месте сооружался осадочный колодец нового жилого массива. В просторном зале одного из рижских музеев щелкали затворы фотоаппаратов, тархатели киносъемочные и мягко гудели видеокамеры — открывалась выставка работ одной давно умершей непризнанной художницы. Вокруг полотен толпились и доморощенные, и московские, и зарубежные спецы и критики, удивлялись, как это они не подозревали о существовании столь своеобразного дарования. И вдруг: солнечный двор, поленница, белые куры и цветущий каштан! Под картиной надпись: собственность такой-то (нашей, разумеется) школы. Раскрываю проспект — с мелованной бумаги глядит на меня Козлятница! Читаю: «В условиях культа личности в картинах художницы усматривались чуждые социалистическому реализму тенденции, и она на время была отстранена от активного участия в художественной жизни».

Но уж если мы коснулись живописи, то было бы весьма однобоким и даже абсурдным малевать те памятные годы одной только черной краской, тем более что над домами и домишками, над сараюшками и хлевушками (прислушайтесь-ка), над вишневыми садами и огородами, клетками с кроликами и скворешнями, надо всем городком большой репродуктор весело и радостно поет:

Мы кузнецы, и дух наш молод,  
Куем мы счастья ключи.  
Вздымайся выше, наш тяжкий молот,  
В стальную грудь сильнее стучи, стучи, стучи!

Полукруминыш, уловив в свои сети шахматиста, перешел поглубже в сень церковного сада — базарная площадь уже полна подвод и людей, люди кричат, поросята визжат, жеребцы ржут. В этот момент нам следует вновь обратить свои взоры на длинную мощеную улицу: по ней приближается к городку третий работник гужевого транспорта. Если помните, у транспортного средства Фрица-говночиста было четыре колеса, у двуколки Банкаира, разумеется, два, а у этого — одно-единственное. Это большая и широкая, доверху груженая тачка: человек хотя и громадного роста, толкает ее с трудом. Рядом с этим

крупным жилистым мужиком семенит маленькая пухленькая бабенция, в руках у нее несколько связок. Добравшись до базарной площади, они раскладывают на продолговатом столе свой товар — книги. Великан мне знаком — это заведующий книжным магазином Озол; десятилетним карапузом я чувствовал себя на седьмом небе, когда он не только здоровался со мной, но и осведомлялся, прочел ли я уже купленную на прошлой неделе книжку «Как братец кролик победил льва». Мне жаль Озола — книг почти никто не покупает и он, словно нищий, просящий милостыню, простаивает в толпе, где круг колбасы и штука ситца ценятся гораздо выше, чем книга.

Когда я вспоминаю Озола, мне почему-то в первую очередь припоминается не вид нашей книжной лавчонки, а ее запах — чисто вымытого пола (Озолиха драила его каждое утро), переплетов и бумаги, свежесбранных и наодеколоненных щек и отутюженной сорочки самого книжного короля. Каждое посещение этого маленького храма было для меня радостным событием, ведь я возвращался домой с драгоценной ношей; нынешние детки, вскормленные молочными реками и кисельными берегами кино и телевидения, и представить себе не могут, что это было. Я раскрывал купленную в лавке книгу на первой странице, и отступало все: и опушка леса или придорожная канава, где я пас нашу единственную корову, и сама буренушка, и проезжавшие мимо меня по большаку подводки и машины — в собачьей упряжке на нартах путешествовал я по большому белому безмолвию, рожденному воображением Джека Лондона, на паруснике заплывал в божественные коралловые рифы и обсаженные пальмами лагуны южных морей. Коровка покамест мирно срывала мягкие ржаные колосья на ближнем поле, которое, к слову, было отнюдь не колхозным, но все еще хозяйским, а жуткий вопль хозяина не идет ни в какое сравнение с окриком нынешнего колхозного должностного лица. Этот злобный тип, этот кулак в конце концов заявил моему отцу, что чтение книжек еще никого до добра не доводило. С этим я могу согласиться целиком и полностью: действительно, если все перебрать в памяти, понимаешь, что книги очень даже тебя испортили. Дома тебя учили не мозолить господам глаза, в книга — резать в глаза правду-матку, вот отчего я в свое время заработал столько синяков и шишек. В книгах и в моей головушке жили принцесса Андерсена и пушкинская Татьяна, и я, простофиля, думал, что все они прелестные, хрупкие, мечтательные и долго хранящие верность создания, и не понимал, почему же реальные, из плоти и крови, так нетерпеливы и смеются надо мной.

Еще большие неприятности забредавшая в чужие владения корова доставляла мне, когда я стал брать книги из библиотеки. А именно: стоило мне на минутку зайти за кустик, как проклятая скотина сожрала целый роман со всем читательским билетом впридачу, зависшая на брошюровочных нитках обложка

торчала из жующего рта вместе со слюнями! Пусть простит меня тогдашняя наша буренка, чьи косточки давно уже побелели, но я ее, главную кормилицу семьи, тихую и добродушную, уже в следующее мгновение стал отчаянно хлестать хворостинной, а когда та сломалась в руках у меня, — пинать ногами, корова удивленно смотрела своими большими влажными глазами, а я все дубасил ее и колошматил, колошматил и дубасил, пока не опомнился, что ей ведь скоро телиться, оттого у нее такой круглый живот. Еще сейчас, как вспомню эту сцену, краска бросается в лицо.

У нее не было кое-как наляпанного на боку черного номера, у нее была своя кличка — Вента. Мясо мы едали лишь по великим праздникам, но зато Вента снабжала нас молоком, маслом, сметаной, простоквашей, творогом, и этим мы жили (еще сегодня не могу без отвращения смотреть на молочные продукты!). Но за Вентой нужен был уход. Отец, едва начинался его двухнедельный отпуск, привязывал к своему двухколесному велосипеду косу, а к моему — грабли, и мы отправлялись на заготовку сена. (Тогда был в силе странный закон, что после 1 августа на землях госфонда всяк мог накосить травы вдосталь, поэтому отец обычно брал отпуск после первого.) Там, на дальних лугах, в недавних местах боев, где коса нередко натыкалась на колючую проволоку, минный проводок, а то и на истлевшую одежду какого-нибудь сгнившего трупа, проходил весь отцов отпуск и часть моих школьных каникул. Я бы предпочел, конечно, погонять мяч или поваляться на речном пляже. Хотелось ли и моему отцу несколько свободных денечков провести в каком-нибудь доме отдыха на Рижском взморье или поехать на экскурсию и кроме нашего местечка увидеть еще какой-нибудь город, больше и красивее нашего, — право, не знаю и, к сожалению, никогда уже не узнаю. Чтобы быть точным, скажу, что на луга отец отправлялся не в первый день отпуска, а только во второй: в первый же на отпускные, большие деньги, глава семьи всех нас вел в ресторан. На самом деле это был буфет № 3, но после очередного ливня на десятки раз перекрашенной стене снова проступали жирные буквы, напоминая всем и каждому, что здесь все-таки РЕСТОРАН. В простенках между окнами, сверху вниз, как в стихотворении, можно было прочесть:

Завтрак  
Обед  
Ужин  
Оркестр  
Бильярд

Итак, принарядившись, мы в превосходном расположении духа отправляемся в ресторан. Через распахнутые окна доносится бормотание репродукторов, громкоговоритель возле церкви тоже работает на полную мощь, поэтому вид у отца,

и без того довольный, становится просто ликующим. Наконец-то он, ответственный за все радиотрансляционные точки городка, сможет спокойно спать ночью, не то что на прошлой неделе, когда его вызвал к себе Балагурс. Спросил, почему ему Советская власть не нравится. Отец ответил, что нравится. Тогда почему последние такты полуночного гимна обрываются не доиграв? Ах, дежурный поспешил нажать кнопку? А может быть, он не случайно раньше времени нажал эту кнопку?

Неприятный разговор закончился обещанием, что подобные ошибки впредь не повторятся.

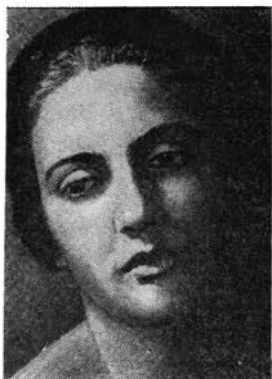
Пройдя через базарную площадь под любимую народом арию из оперы «Иван Сусанин», безупречно и на высоком техническом уровне исполняемую громкоговорителем, мы входим в буфетную. В первом помещении — стойка с пивной качалкой и качалкой поменьше, из которой буфетчица нацеживает в граненый чайный стакан водки, за спиной у буфетчицы громоздятся на полках бутылки, словно тома в книжной лавке Озола: вино, ликер, шампанское и всякое такое прочее, а поверх них выставленная на всеобщее обозрение достопримечательность предприятия общественного питания и спаивания нашего городка: известная картина с поваленным стволом и медвежатами, но только в глазу у каждого топтыжки горящая лампочка. Свет лампочек едва пробивается через густой слой табачного дыма. В общем гуле слов не слышно. Виновник кутежа, оказывается, самый большой городской выпивоха по прозвищу Косой, названный так потому, что у него перекошена физиономия. По профессии Косой — сапожник, но обувь в починку ему никто уже не носит; любую отремонтированную пару туфель или сапог он продает на вокзале проезжающим, а деньги пропивает, и теперь зарабатывает единственно своим коронным номером: на спор съедает стакан, аж на зубах хрустит! В позднейшие годы, когда вошла в моду высылка паразитических элементов из городов, Косого отправили в уже упоминавшийся выше совхозный центр Лиелкрумини, пускай себе там пьет и воруется.

Мы проходим в другое помещение, где дыма поменьше, так как окно здесь нараспашку. Отец заказывает на каждого суп, котлеты, кисель и пирожное, с важным видом берет и бутылку крымского вина. В ожидании котлет отец прикладывает ладонь к уху и вслушивается: церковный орган гремит так, что большого репродуктора и не слышать. Наверное, пауза между передачами. Котлеты уже наполовину съедены, орган гудит как гудел, а громкоговоритель — молчит. «Жанис с ума спятил! — ворчит отец на пастора. — Мало того, что он заглушает нас органом, еще и орет не своим голосом!» Но если прислушаться как следует, можно уловить, что это не пастор и не трансляция из Риги, а Стокгольм — утреннее богослужение на шведском языке. Мигом забыв про отпуск, отец, весь желтый, вскакивает как ужаленный и мчится на почту, где установлена

аппаратура. Выясняется, что сынку уборщицы Сусанин показался чересчур скучным, он стал крутить ручки большого приемника и с рижской волны забрел на стокгольмскую. И наш пир горой, конечно, не состоялся.

Вспоминая отца, я чаще всего вижу лето, низкое, ленивое послеполуденное солнце, улицу, покрытую слоем раскаленной пыли, железнодорожный переезд и невысокого плотного человека, толкающего перед собой старенький велосипед. К багажнику привязана буханка хлеба, банка консервов, еще кое-что из провианта, раздобытого после работы в местном магазинчике. Хотя отец считается в городке начальником над всеми репродукторами, руки у него в царапинах, пальцы распухшие, потому что работает он не авторучкой, а плоскогубцами, отвертками, паяльниками и даже подчас лопатой и ломом. Он редко возился с нами, отец, и не был ни интересным собеседником, ни первым советчиком своим детям. Но он научил меня косить сено, колоть дрова, проводить электричество в дом, и я горжусь этим, как горжусь и своими руками, которые натружены не меньше отцовских. В жизни мне доводилось бывать в самых шикарных ресторанах. При виде того, как типы с мягкими пуховыми ручонками швырялись деньгами, которые они не заработали, но сумели выманить у других, мне делалось грустно или же хотелось съездить кое-кому по морде; в такие минуты я мысленно переносился в тот далекий, тот простецкий, насквозь продымленный буфет маленького провинциального городка, где мой отец, на первый взгляд небрежно расставаясь с деньгами, но при этом подолгу вертя в заскорузлых пальцах каждую купюру, угостил в первый день своего короткого отпуска.

Городок, в котором прошли мои отроческие, жеребьячи годы, стоит как стоял на прежнем месте, и время от времени я навещаю туда, потому что там все еще живет моя родня. Улицу — давно уже заасфальтированную — как и тогда, пересекает железная дорога, только составы с цистернами, балками, металлоломом, кирпичом идут в обоих направлениях так часто, что шлагбаум на переезде больше закрыт, чем открыт, и длинная вереница машин подолгу ожидает прохода поезда. Снова светит низкое, ленивое послеполуденное летнее солнце, невысокий плотный человек устало толкает перед собой старенький велосипед с привязанной к багажнику буханкой хлеба. Маленький мальчик радостно бежит ему навстречу — книжку, вот какую достал он книжку! Но тут сзади раздаются гудки, бибиканье, скрежет, ползущий впереди «Жигуленок» тяжело переваливается через рельсы, и вот первая скорость, вторая, третья, и один только бог ведает, как долго я простоял на этом переезде: три мгновенья, три часа или три десятилетия.



## СЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

Детские и школьные годы Татьяны КЛИМЕНКО - РАТГАУЗ прошли в Москве, Киеве, затем — Праге. Еще будучи школьницей, она начала заниматься в драматической студии под руководством актрисы Л. С. Ильяшенко-Камеровской, ученицы В. Э. Мейерхольтца, первой исполнительницы роли Незнакомки в пьесе Александра Блока. С 1926 г. в русских зарубежных изданиях регулярно публикуются ее стихи. В 1935 г. по приглашению дирекции Рижского русского драматического театра Т. Клименко-Ратгауз приезжает в Ригу, вступает в труппу театра.

В 1970—1980-е годы стихи Т. Клименко-Ратгауз публикуются в журнале «Даугава». В 1987 г. в издательстве «Лнесма» выходит ее книга «Вся моя жизнь», куда включены ее стихи, а также — воспоминания об отце, известном поэте Данииле Ратгаузе.

В данной подборке мы поместили ранние, не вошедшие в книгу стихов Т. Клименко-Ратгауз 1920—1930-х годов.

### ПЕСНЯ ПРОЩАЛЬНАЯ

Мы с тобой простились.

Разве так прощаются?..

Золотистой пылью улица блестит.

Что мне делать — мои губы улыбаются

И тогда, когда душа болит!..

А в твоих глазах и внятно-тихом голосе  
Слишком длительный, мучительный покой.  
Пали солнца смутно рдеющие полосы  
На руки мои, объятые тоской.

Мысли странно путаются, обрываются...

Отчего-то стук в груди больней, больней...

Мы с тобой простились. Разве так прощаются?

Разве так прощаются на много, много дней?..

1925

### БЕССОННИЦА

Тихим звоном прожурчала  
Горсть дождя, плеснув на стекла.  
Грусть взметнулась, закрывала  
И, дрожа, опять умолкла.  
Чуть ступают по паркету  
И руками машут тени.  
Звонко в мути полусвета  
Тишины немое пенье.  
Все быстрее часов метанье:  
Это зов глухой не мне ли?..  
Знаю я, ты не устанешь  
У моей стоять постели.

1929



\* \* \*

Игла вонзилась в черный круг  
С почти торжественным шипеньем.  
Прольется плавно первый звук  
Нечеловеческого пенья.  
В воскресный вечер, у окна,  
Сквозь гул неспрадных событий  
Неутомимая струна  
Заплачет о морях Таити.  
Чуть дрогнет под столом нога  
В волнах ритмичного прибоя,  
И встанут в пальмах берега  
И небо жгуче золотое.  
И в мягком танце проплывет,  
В нелепом праздничном круженье  
Закуренный и низкий свод  
И в стеклах платья отраженье.  
Бежит, лоснится черный круг,  
Спешит, боясь остановиться.  
Смеется мой плененный друг —  
Зеленая большая птица.  
И я себе самой смешна,  
В таком порыве вдохновенья,  
Над радиолой у окна  
В туманный вечер воскресенья.  
Один руки привычный жест, —  
Струна рванулась, замолчала...  
Но песню радостных надежд  
Я завожу опять сначала...

1930

## ГУРОН

*Э. Чегринцевой*

Звезды и небо, и вы — все те же,  
Оранжевый Купер, синий Майн Рид!  
Так же воду каноз режут  
И ночами костер горит.  
Ветер бизоном скачет из прерий.  
Здравствуй, Змеиная Голова!  
На синеглазом озере Эри  
Ты не построишь себе вигвам.  
Не твои полуночные пляски, —  
Бубнов звон у медных колен, —  
От экватора до Аляски  
Голоса фабричных сирен.  
Воздвигают упрямые янки  
Геометрическим, четким сном —  
Вавилонские башни банков,  
Кружевные дворцы кино.  
Ты — все тот, и Медведица — та же,  
В прерии лиловет трава,  
Но проводов тугую пряжу  
Мыслям немощным не прорвать.  
Тяжек сон бледнолицых шакалов  
(И во сне они — не с тобой) —  
Режит крыльями сны и шквалы  
И большой небесный прибор.

Спит в ночи твой тихий потомок,  
Только кожа его — как медь.  
Он, покорный, сумеет дома —  
Как и другие здесь — умереть.  
Но, с зарей, тяжелые краны  
Подымают из ночи груз:  
Злые сны, смертельные раны  
И почти звериную грусть.

1932

## ПОСВЯЩЕНИЕ

Сойду с ума от скучной жизни,  
И будет равен час и год.  
Уйду туда, где солнце виснет,  
Как мяч, над занавесью вод.  
Взойду по скалам оголенным,  
По мягким травам пробегу,  
Чтобы цветок замороженный  
сорвать на топком берегу.  
И вдруг совсем понятно станет,  
И будет так легко простить,  
Что богу всех моих страданий  
Дороже — паутины нить.  
И я прощу, без слов, без взгляда  
Тебя в том каменном лесу,  
И руки, через все преграды,  
К другому небу вознесу.  
И под ликующим потоком,  
Где ярко брызжет бирюза,  
Я окроплю небесным соком  
Твои незрячие глаза.

1932

## ГРОЗА

Вот с петель всех сорвался с неба гром,  
На землю ринулся стеной мохнатой.  
Забились тучи бешеным крылом,  
И черный ветер облекался в латы.  
На горизонте молнии, визжа,  
Огней бенгальских разрывали пачки,  
И дом пригнулся низко и дрожал,  
Как пароходы в океанской качке.  
Должно быть, ангелы сошли с ума,  
И страшные и злые от безумья,  
Носились в дикой пляске по холмам,  
Смесь и плача в необъятном шуме.

. . . . .  
Стрела часов подвинулась слегка,  
И снова вечер ласков был и светел,  
Сраженные, толпились облака,  
Покорные как маленькие дети.  
И ангелы, опомнившись с зарей,  
Молились долго, опуская крылья,  
А воздух был — как пенье за горой,  
И в небе птицы — лебедями плыли.

И так же в небо шли десятки рек  
И таяли, как, может быть, когда-то,  
Когда в такой же час пристал ковчег  
К немеркнувшей вершине Арарата.

1932

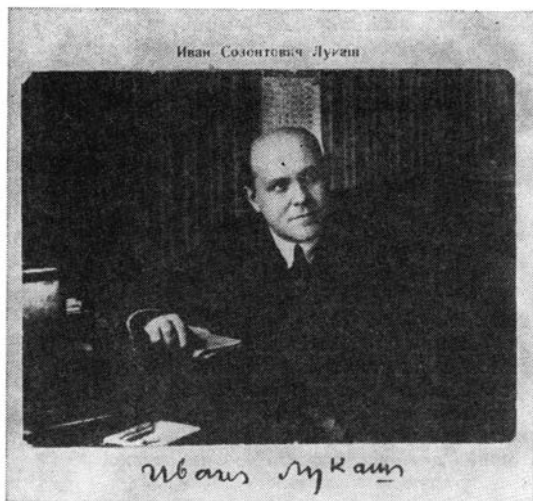
\* \* \*

Навстречу сини, близкой и огромной,  
Ты в полдень окна жадные раскрой.  
На сквозняке пронзенных солнцем комнат  
Веселый пыли золотится рой.  
В столовой — скатерть, снежная поляна,  
И все еще не тает холодок.  
Но веселей на полке деревянной  
Хрустальной вазы сказочный ледок.  
Пунцовые альпийские фиалки —  
Как севшие на вазу мотыльки.  
Ушедших дней уж больше мне не жалко.  
А дни грядущие и звонки и легки...

1935



Зигурд Зузе. 1957 год



О писателе Иване Лукаше советский читатель знает очень мало: заметка Л. Н. Черткова в «Краткой литературной энциклопедии», страница в книге Л. Д. Любимова «На чужбине» да рассказ Лукаша «Поликсена», перепечатанный лет двадцать назад в журнале «РТ». Между тем речь идет об авторе десятка книг, которые в случае их нынешнего переиздания несомненно пользовались бы широким успехом у любителей исторической беллетристики.

Иван Сазонович Лукаш родился в Петербурге, в 1892 году, в семье отставного ефрейтора Лифляндского полка, швейцара и натурщика Академии художеств, по семейному преданию позировавшего Репину. Солдатский фольклор стародавних времен оживает потом в исторической прозе Лукаша, а к дому на набережной Васильевского острова он не раз возвратится воспоминаниями: «Родина моя, академический двор, мощный булыжник, Минерва-Паллада, и Нева, и сфинксы, видные из наших окон, и багрово-желтый блеск холодного пожара в окнах за Невой, на Английской набережной...»<sup>1</sup> Половину своей жизни он мучился утратай Санкт-Петербурга, в видениях своих все кружился над Сенатской площадью, «где черным жуком на черной собаке скачет крошечный Петр»<sup>2</sup>. Он был гимназистом четвертого класса, когда 9 января 1905 года вошло в жизнь всех его сверстников и начались у него «тревожное отрочество, странная революционная и романтическая юность, жаждающие мира, правды и милости народу и родине»<sup>3</sup>. Он становится заметен в среде прозсеровски настроенных гимназистов<sup>4</sup>. Потом — зимние пробежки по невскому льду в театр В. Ф. Коммиссаржевской, недолгое участие в кружке эгофутуристов, Петербургский университет, репортерская работа в газете «Современное слово», служба вольноопределяющимся в Преображенском полку в дни февральской революции. В 1918 году он навсегда покидает Петроград. Путь его предопределен маршрутом белого исхода: Киев, Севастополь, Константинополь, Галлиполи, София, Вена, Берлин. В Софии и Берлине в 1922 году выходят его книжки, еще «торопливые до косноязычия», как замечает критика. При расколе русской литературной молодежи в Берлине он занимает непримиримую по отношению к сменовеховцам позицию: «В трупарню вы зовете нас». В Берлине он дружит с начинающим литератором Владимиром Набоковым — вместе они сочиняют скетчи для русского кабаре «Синья птица» и либретто пантомимы «Агасфер» под музыку композитора из

<sup>1</sup> «Слово», Рига, 1926, 20 марта.

<sup>2</sup> «Слово», 1926, 20 июля.

<sup>3</sup> «Слово», 1926, 22 января.

<sup>4</sup> Революционное юношество. Сб. 1. Л., 1924, с. 72—73, 84.

<sup>5</sup> «Руль», Берлин, 1924, 8 января.

Риги М. И. Якобсона<sup>5</sup>. А в 1925 году Лукаш переезжает в Ригу и здесь два года занимается повседневной редакционной работой в русской газете «Слово», регулярно печатается в рижском журнале «Перезвоны». Рига, и раньше возниковавшая самыми общими чертами в его исторических миниатюрах (например, «Потерянная ботфорта. Из неизданных записок барона Мюнхаузена»<sup>6</sup>), теперь входит конкретными названиями и описаниями в его сочинения («Гомункулус»<sup>7</sup>, «Невероятные приключения Мюнхаузена в Риге»<sup>8</sup>). Он ездит по Латвии — в Елгаву («Часы Людовика»<sup>9</sup>), в Латгалию, пейзаж и быт которой напоминают ему Россию. В Латвии он искал и находил следы русской старины, вроде дубов, по преданию посаженных Петром на берегу Киш-озера: «На владычной даче под Ригой и я сидел под дубом Петра, точно под громадной колонной. Дуб Петра сквернили бунтовавшие солдаты, его жгли с корней, ему разворотили дупло. Рижский владыка Иоанн сам обил дуб железными скобами, дупло завалил кирпичинами, и теперь торжественно шумит темно-зеленая петровская листва»<sup>10</sup>. Или вглядывался в дубултские дачи, пытаясь вообразить себе, что здесь некогда могло привидеться автору «Обломова» («Гончаров на Взморье»<sup>11</sup>). Как исторический беллетрист он особенно ценил те ниточки случайных совпадений в пространстве, которые ведут в глубь времен (в Тарту, например, ему удалось однажды видеть одновременно правнука Карамзина, потомка Булгарина и сына Мельникова-Печерского). В 1927 году, попрощавшись с Ригой («Тебе, рижская Мирная улица, мой прощальный поклон...»<sup>12</sup>), он переезжает в Париж. Здесь он выпускает книги рассказов и романов о русской истории последних трех веков — «Дворцовые гренадеры» (1928), «Пожар Москвы» (1930; историческая хроника от убийства Павла I до восстания декабристов), «Сны Петра» (Белград, 1931), «Бедная любовь Мусоргского» (1940) и другие. Владимир Набоков на закате своей жизни вспоминал о романах Лукаша: «Они написаны прекрасно. Стиль превосходен. Но в них чего-то недостает, им не хватает чего-то вроде композиционного огня, которого у него никогда не было»<sup>13</sup>.

Смерть Лукаша 15 мая 1940 года прошла почти незамеченной на фоне начавшейся мировой войны.

Образ места не в последнюю очередь складывается из взаимоналожения его отражений в разноязычных культурах. Лукашевские отражения вносят драгоценные штрихи в образы латвийских городов.

Роман ТИМЕНЧИК

<sup>6</sup> «Сегодня», Рига, 1923, 7 октября.

<sup>7</sup> «Новая неделя», 1926, № 7.

<sup>8</sup> «Новая неделя», 1926, № 4.

<sup>9</sup> «Слово», 1927, 23 января.

<sup>10</sup> «Возрождение», Париж, 1930, 16 ноября.

<sup>11</sup> «Слово», 1926, 30 мая.

<sup>12</sup> «Слово», 1927, 11 мая.

<sup>13</sup> Field A. VN, the Life and Art of Vladimir Nabokov. New York, 1986, p. 125.

# ЧАСЫ ЛЮДОВИКА<sup>1</sup>

## РАССКАЗ О МИТАВЕ

Тихий город острых крыш в красных черепицах, старинные фронтоны и такая базарная площадь, точно кто-то взял и перенес тебя на два века обратно во времена пудренных париков, красных каблуков, камзолов...

Когда-то отсюда, глухо гремя громадами кованых колес, тронулся в Москву красный, с черными гербами возок герцогини Курляндской Анны, той самой императрицы Анны, которая потом разорвала «кондиции» верховников и «учинилась в суверенстве».

Но не конюх-герцог Бирон и не сухонький фельдмаршал Суворов, которых тоже видала тихая Митава, — вспоминались мне, а образ иной, чужеземный — образ короля-изгнанника, короля-бродяги...

Курляндский городок черепичных крыш и старинных колоннад — ведь он навсегда таинственно и странно озарен отсветом величайшего пожарища, Французской революцией.

Кто не знает, что в Митаве по высочайшей любезности императора Павла Первого пребывал Людовик Восемнадцатый, король-претендент на трон Франции, изгнанник революции. Кто не знает, что тут жил и умер его духовник и духовник казненного Людовика Шестнадцатого, аббат Эджворт де Фирмон, шотландец с горячими глазами, тот Эджворт, который на самой гильотине отпустил грехи Людовика Шестнадцатого<sup>2</sup>.

У Анненских ворот — есть такое место в Митаве — запущенное кладбище. Тяжкие каменные кресты — кладбище старообрядцев, а рядом, через канаву — кладбище католиков.

---

<sup>1</sup> После второй мировой войны этот экспонат елгавского музея, как и многие другие, в фондах отсутствует.

<sup>2</sup> Генри Эссекс Эджворт де Фирмон (1745—1807), духовник Людовика XVI. Приписываемые ему молвой слова при казни монарха он в позднейших разговорах отрицал.

Там есть часовня, проржавелые двери, разбитые стекла; в полутьме заступы и лопаты и почерневшие от пыли ленты давно засохших венков... Забытая усыпальница Эджворта.

И когда я бродил у пышных и грандиозных чугунных ворот, у развалин, — все еще громадных и великолепных, — нежно-розовых развалин Бироновского дворца, между колючей проволокой и грудями кирпичей, а ласточки с тихим свистом вылетали из расцелин, — все вспоминался мне Людовик-Изгнанник, этот добродушный бродяга-король, поэт и подагрик, что год за годом, десятилетиями ждал возвращения во Францию...

И в те времена, в 1797 году, уже стоял обветшалым Биронов дворец.

Каменные строения. Окна как бойницы крепости. Пустынный четырехугольный двор посыпан желтым песком, точно казарменный плац.

Нечистая лестница ведет в покои Людовика, а там обтертые и оборванные мебели. Стены обтянуты изодранными штофными обоями. Тускло блестит кое-где золоченый узор. На лестнице угрюмо и величаво меняют караул *garde de corps*.<sup>3</sup>

Это гвардия короля, старые эмигранты, с породистыми, сухими лицами, — старые королевские гвардейцы в заношенных заплатах кафтанах.

Все они старые эмигранты во имя короля. Еще с тех дней, как бежали они из отечества, зашит в потрепанную подкладку их синих старых фраков и атласных камзолов орден Святого Людовика, залог верности королю и отечеству.

Орден Людовика — орден Святого Духа, — золотой крест в белых эмалях, а по угольникам — королевские белые лилии. Парит в кресте серебряный голубь, а над ним девиз рыцарей Франции: *Duce et auspice*.<sup>4</sup>

Сухощавый и живой Серанна, бледный де Буассель и Курвуазье, и маркиз Жокур, и граф д'Абав — учтиво и чинно салютуют гвардейцы короля, как будто не стали они эмигрантами, нищими Европы, бродячим Вечным Жидом, во славу прекрасного отечества и его лилий...

А Людовик, *Sa Majesté très Chretienne*<sup>5</sup>, уже который день страдает подагрой.

Его распухшая нога лежит на табурете. Король как будто дремлет в вольтеровских креслах. Король задумался.

С ним рядом герцогиня Ангулемская, дочь казненного Людовика Шестнадцатого, ее высочество Мария-Терезия.

Герцогиня высокая и тощая, как скелет. Она вся в черном, она в неснимаемом трауре по отцу и матери, мученикам французского народа, по брату-дофину, маленькому арестанту Тампля.

Она помнит... Вначале дофин просил свою любимую

<sup>3</sup> Телохранители (франц.).

<sup>4</sup> Веди и предвещай (лат.).

<sup>5</sup> Его Христианнейшее Величество (франц.).

китайскую куклу и бильбоке. Она помнит, как потускнели, точно вылиняли, его золотистые волосы в сырости каземата. В канун казни отца мать-королева вязала дофину шерстяные носки. Она помнит глухой звук отцовского кашля. А дофин скоро перестал просить куклу и бильбоке. Он кашлял кровью в арестантскую подушку, набитую грязной соломой. Башмачник Симон, палач, якобин, приходил и бил дофина Франции колодкой, до синяков, по худеньким, детским плечам...

Герцогиня Ангулемская помнит все.

Аббат Эджворт де Фирмон, грустный и молчаливый, играет с герцогиней вечернюю партию в триктрак. Это он, аббат Эджворт, последний духовник казненного короля, громко и ясно крикнул с гильотины, в толпу парижан, в багровое, кипящее море красных колпаков, смуглых лиц:

— Сын Людовика Святого, восходи на небеса...

И вот он, как и герцогиня волею божией спаслись от ярости бунта. И вот теперь в Митаве, в варварских снегах, коротают долгий зимний вечер с этим бедным толстяком Людовиком, который так страдает от подагры.

Камин дымит. Эмиссары сурового московского императора скупно отпускают изгнанникам сырые дрова.

Тени огня, пугливые и тревожные, тихо пролетают по исхудалому лицу Марии-Терезии, по пятнышку тонзуры на склоненной голове аббата, по мягким, дурно выбритым щекам короля. Печальным звоном замерли на плитах коридора шаги *garde de corps*. Старческие, шаркающие шаги: гвардейцы короля уже сменили вечерний караул.

Трещат в камине сосновые поленья. Новый вечер, новая ночь изгнания...

Герцогиня Ангулемская легко вздохнула. Помогали ее круглые, птичьи глаза.

Король поднял голову. Король смотрит в черное окно. Наморщился на широкой спине его ваточный синий сюртук. Тени огня мигнули синевой на звезде Святого Духа.

В черном окне — варварская метель, косо проносятся хлопья снега.

Далеко-далеко в сугробах Московии, в белых равнинах, где бесится северный ветер, — погребены в суровых снегах остатки эмигрантских войск.

На зимние квартиры где-то на Волыни стал пеший полк принца Кондэ, в русских кокардах, в русских мундирах. Где-то в Луцке стоит батальон герцога Бурбона, пять эскадронов д'Ейгета, последняя артиллерийская рота. И где-то в Ковеле два батальона Гогенлоэ, а во Владимире-Волынском конный полк де Бари...

Метель в черном окне, тяжелый гул вьюги.

Тучный король тяжело покряхтел, передвигая ногу на табулете:

— Герцогиня, вот наступил уже 1797 год.

— Да, ваше величество.



— Герцогиня, какие долгие вечера, какие одинокие ночи...

— Да, ваше величество.

Король отвернулся к окну.

Король не хочет, чтобы видели, как трясутся его щетинистые, дурно выбритые щеки, как он шепчет и всхлипывает, точно большой ребенок:

— О, как долгод вечер изгнания...

Потом они вернулись во Францию. И народ в Париже, тот самый народ, что плясал на кровавой жиже у гильотин, смуглый, жаркий, в поту, кричал им: «Да здравствует король» и бросал в карету белые лилии...

Потом они умерли. Потом были еще революции. Они тоже отгремели и люди их умерли...

А в Митавском музее — в тихом городке — странной судьбой оставлены часы казненного короля Людовика Шестнадцатого. Карманные золотые часы, в золотом футляре, со стеклами. Выпуклый циферблат в эмали с обеих сторон — на одной часы и минуты, на другой — месяцы, дни, числа и фазы луны. Там надписи часового мастера: *Grondal fils à Spa*.<sup>6</sup>

Когда Людовик Шестнадцатый 21 января 1793 года взошел в Париже на эшафот, эти часы были в кармане королевского камзола...

Ударил нож гильотины, голова Людовика с глухим стуком прыгнула в корзину, обитую кожей, скользкую, липкую от крови...

Палач Сансон, — его руки на январской стуже дымились от крови, — сорвал запонки с голландской, опятненной кровью рубахи короля, закрутил в жгут на кулак липкие волосы, показал народу королевскую мертвую голову...

Ресницы судорожно метались. А королевские часы звенели, тикали в кулаке Сансона.

За 200 лудиров часы достались принцу Рогану, от него гроссмейстеру Мальтийского ордена, от него кавалеру Куссей, от него русскому графу Рачинскому. В 1863 году внук Рачинского<sup>7</sup> отдал их в Митавский музей...

На эмалевом циферблате — часы и минуты, месяцы, числа и дни...

Если тонким золотым ключиком завести их — они зазвоят тихо... И только...

Все прошло, все утихло. Только в музее сквозят тонкой позолотой под вековой пылью таинственные часы...

Станный тихий городок, какие призраки, какие тайны роятся в провинциальных его закоулках, в запущенной тишине кладбища.

И какая странная встреча была у меня в Митаве — на кладбище первые, кого я увидел, — были седая дама, а с нею

<sup>6</sup> Грондаль-сын в Спа (франц.).

<sup>7</sup> Граф Вильгельм-Леопольд Рачинский (1808—1889) — директор правительственной гимназии в Митаве.

глухонемая дочь — точно обе слетели со страниц Чарльза Дикенса. Седая дама и глухонемая девушка, — не знаю их имен.

Седая старина, глухонемое прошлое. Все прошло, все утихло...

Под вековой пылью тонкой позолотой едва сквозят часы казенного короля.

## ГОМУНКУЛУС

ФАНТАСТИЧЕСКОЕ, НО ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Что луну делают в Гамбурге, это известно всем.

Мастерил ее там на медных шарнирах один косою сапожник, лысый лунатик, и когда его лунный рог выплывал в ночное небо над черепицами Гамбурга, — желтый, как шафран, и ноздреватый, точно кривой и огромный кусок швейцарского сыра, — почтенные граждане говорили:

— Этот чудак сапожник снова забавляется с луной.

Впрочем, история гамбургской луны настолько известна, что даже стала поговоркой.

А вот историю о Гомункулусе Мельхиора Краузе — голову могу дать в залог — не знает никто.

Между тем я сам живой свидетель этого любопытного и причудливого происшествия.

Надобно вам сказать, что Мельхиор Краузе — мой друг.

Это тот самый Мельхиор, что очень молчалив и вежлив, держит голову по-птичьи несколько вбок, а на голове у него странные проплешины, точно черт однажды обложил ему череп синими пятаками, да так и пустил гулять в люди.

Поэтому, может быть, он был несчастен в любви и остался холостяком.

Служил он вторым счетоводом в конторе «Якорь», а жил в Старом городе, недалеко от Дома Черноголовых, в узком переулке, в прадедовской лачуге о трех этажах, с крутой лестницей прямо на двор, под самой крышей, в темных каморках.

И был мой Мельхиор тем мечтателем, какие еще не перевелись в Старой Риге...

Я любил бывать на его чердаке под вечер, когда затихает детвора внизу, и старые стены дышат теплом, и в старых каштанах вкрадчивой свежестью шумит ветер с Двины...

Первая каморка стояла пустой — только вешалка да табурет у пыльного зеркала, где можно было увидеть себя лишь при свече и то с кривой мертвецкой рожей. Во второй — стол, кровать и гитара, а третья была вечно заперта на ключ. Там были Мельхиоровы приборы и книги.

Когда он еще веселился буршем в Дерпте, в этих каморках

помер его дядя, отставной рижский органист, задумчивый не-людим, которого пугался весь переулочок.

Мельхиор приехал пропивать дядино наследство и...

И бросил университет и застрял в каморках навсегда.

Я слышал стороною, что в пыльной рухляди органиста он нашел какие-то тяжелые книги в переплетах из свиной кожи, с ветхими листами табачного цвета, изъеденными по краям крысами.

Какие там нашлись книги, я не знаю, но Мельхиор Краузе, второй счетовод рижской конторы «Якорь», стал... чернокнижником и алхимиком.

Алхимик, не правда ли, это дико в наше время, когда Старая Рига и ее старые сказки, и романтики, и вся романтика, давно уже вымерли, исчезли, как тихий дым... Но, право, я не виноват, что Мельхиор занялся алхимией.

Он сам мне признался, что ищет золото, философский камень и Гомункулуса.

Я только мог закурить в ответ, хотя и подумал: «Ты, брат, тронулся»... А он ржавым ключом отпер дверь в третью каморку и вынес оттуда пыльную и огромную, как Библия, книжищу. На ее пожелтевшем заглавном листе был изображен хвостатый дракон, три глобуса и затейливая надпись над ними: *Scientibus et Artibus*.<sup>1</sup>

Я перекинул страницу, и черт знает какая понеслась чушь — квадраты черные, круги и ромбы красные, знаки, знамена, звезды, латинские литеры, сирены и змеи, скелеты и олени о восемнадцати рогах...

— Ее оставил мне дядя. Вот его пометки ногтем на полях. Он тоже искал Гомункулуса...

Теперь я понял, что синие пятна на голове Мельхиора — следы его многих и неудачных алхимических опытов.

— Послушай, мы, может быть, поедем на Взморье, или посидим в парке на музыке, — сказал я как можно равнодушнее.

— Дрянь твое Взморье, хуже турецкого барабана музыка, — обиделся Краузе и понес такую ахию, что я не стал даже слушать. Это было вечером в мае...

И только в августе, в безветренный и теплый вечер, я вспомнил о старом приятеле, и меня потянуло в его узкий переулочок, где стены так долго хранят тепло скупого солнца.

В переулочке — никого. Открыто под самой крышей крошечное окно у Мельхиора. Вечер еще румянит верхние стекла.

Я взбежал по лестнице и с разбегу дернул звонок — один раз, другой. Тишина. В досаде я стал уже сходить с лестницы, и тогда за мною легонько скрипнула дверь.

Мельхиор стоял на пороге со свечкою, его глаза рассеянно мигали, точно у птицы, шархнувшей из ночной тьмы к огню.

— Что с тобою, Мельхиор, ты точно не узнаешь меня?

---

<sup>1</sup> Научкам и ремеслам (лат.).

— Нет, узнаю... Но уходи, ты мне мешаешь, я занят.

— Отличный прием... Опять, вероятно, алхимия?

— Да.

Он стоял со свечой в прихожей, у пыльного зеркала. Наши лица отражались в мутной бездне, как две мертвецкие бледные маски.

— А впрочем, если хочешь, останься, — тихо сказал Мельхиор. — Я могу открыться тебе: Гомункулус найден мною.

— Как? — Я попятился к дверям... Гомункулус, искусственный человек, — я читал в энциклопедическом словаре, что алхимики вываривали в котлах пропасть всяческой нечисти и бредили, что так точно из бульона можно выварить нового и совершенно живого человека.

— Нет, зачем же мешать тебе, — хитро сказал я. — Прощай.

— Нет уж, оставайся.

И за рукав потянул меня во вторую каморку.

Стол завален кипами чертежей, карандашными огрызками, бутылками с отбитыми горлышками, обмазанными какой-то бурой жидкостью, отдающей миндалем.

— А, вот гитара, — присаживаясь на кровать, сказал я только для того, чтобы сказать что-нибудь, чтобы отогнать страх и молчание. — Ты играешь?

— Тсс... Слышишь?

Он поднял палец. В запертой каморке что-то влажно и мягко сопело, шуршало, как будто там подымалась квашня.

— Это он, — прошептал Мельхиор, — Гомункулус.

— А его не взорвет?

— Нет... Состав девять недель набухает в котле, потом разделяется с легким треском и Гомункулус готов... У меня не было алхимического тигеля, я подогревал его просто на керосинке в умывальной чашке.

Мельхиор грустно улыбнулся, и мне стало жалко его.

— Слушай, чудака, все равно какую чушь коптишь ты на керосинке, но я не оставлю тебя.

— Это не чушь, а Гомункулус. После 49-й алхимической формулы я высчитал знак горения... Потом — кости вола, мышинный мозг, шестнадцать лягушечьих лапок, ртуть, шестьдесят шесть наборов трав, соли — это все пустяки... Главное, что я высчитал знак горения. Слышишь, он бухнет и бухнет уже тринадцатую неделю.

— Ты сумасшедший, Мельхиор, неужели ты думаешь, что у тебя в умывальной чашке родится голый младенец?

— Конечно. Великий алхимик Грекориус Адоратус учил, что Гомункулус в первый день во всем подобен младенцу, а потом становится прекрасным и совершенным, как божество... Я переверну всю землю, я заселю ее божествами...

И тут легко треснуло что-то, точно хлопущка, и за дверью кто-то влажно чихнул.

Мельхиор вострепнулся:

— Он! Он!

И едва не прошиб головой дверь каморки. И вдруг ахнул, затрясся и через меня, через кровать, через стол нырнул в другую угол.

Я оглянулся... И тут начинается то, чему не советую верить, но свидетелем чему был именно я.

Из темных дверей каморки посунулась плоская змеиная морда на длинной серой шее, в покатых глазах отблески свечи.

Я мигом был под кроватью, под столом, в том углу, где уже трясся Мельхиор. Нас била дрожь, как воробьев под градом.

А из каморки, покачивая, точно верблюд, длинной и голой, в пупышах, шеей, уже вылезал неспешно довольно рослый, раза в два выше меня, новорожденный... ихтиозавр... Да, ихтиозавр, точно такой, каких обычно рисуют в учебниках зоологии.

Его ноздреватый и студенистый горб терся о потолок, провел там темную мокрую полосу.

Ихтиозавр, влажно переступая студенистыми ступнями, пролез в другую дверь. Проверещали по полу позвонки его изогнутого хрящевого хвоста.

— Я... Я... ошибся, — зубы Мельхиора гремели, как кастаньеты, — вместо лягушки сунул жабу, она разрослась в ихти... в ихти...

— Молчи!

Другой ихтиозавр, ростом поменьше, выступал из каморки. Он протатился, как первый, но на пороге наморщилась его змеиная морда, он сочно чихнул, и разом погасла свеча и все заволокло сырým туманом.

Мы лежали на полу ничком. Мы ждали третьего, четвертого, пятого, целый эскадрон ихтиозавров, вылезших из умывальной чашки Мельхиора...

Но из каморки только пахло отсыревшим керосином и затхлостью, а на лестнице во двор студенисто чавкали, удаляясь, слоновьи ступни чудовищ.

Мельхиор оправился первый. Он перевесился в окно, я заглянул через его голову, похожую на шахматную доску.

Была лунная ночь...

В узком переулке, у белых стен, один за другим важно выступали два серых страшилища, их мокрая обвислая кожа отблескивала при луне металлом. Горбатые тени колыхались до самых крыш.

— Завтра вся Рига сойдет с ума, — едва выговорил я, придерживая рукой дрожащий подбородок. — Мельхиор, что ты наделал? У тебя родилась целая двойня... Нас посадят в тюрьму.

— Их надо убить, — слышишь, — утопить их!..

Эта лунная ночь, узкие переулки, серые чудища — да было ли это, спрашиваю я себя иногда и щиплю за ухо, чтобы убедиться, что было.

Ихтиозавры, кажется, думали от Дома Черноголовых выйти на Известковую<sup>2</sup>, но мы обогнали их... Мы гнались за ними по лунным переулкам, как две черные тени, я с выломанной ножкой стула, Мельхиор почему-то с гитарой.

Мы присели на корточки в конце переулка, замахали руками, ножкой, гитарой и оба вместе прокричали:

— Га-га-га!

Ихтиозавры стали. Кажется, эти студенистые гиганты были трусоваты и глупы, как коровы. Они растерянно поводили своими долгими шеями, а в их выпуклых глазах, как в покатых бутылочных стеклах, горела луна.

На наше счастье, под рукой нашлись куски три кирпича. Они угодили в студенистую грудку. Ихтиозавры довольно проворно повернули обратно.

Так мы загнали их в ту узкую улицу Роз<sup>3</sup>, где нет ни одного окна, а только задние стены. Охота пошла оживленной.

Ловко пущенный последний кирпич заставил ихтиозавров перейти на тяжелую рысь. Они хотели было повернуть к Сейму<sup>4</sup>, но мы загнали их в тот глухой переулок, где есть низкая кирка... Ихтиозавры устали. Потянули морды к крыше и стали слизывать росу. Им, видно, хотелось пить.

— Теперь бей беспощадно, вперед! — скомандовал Мельхиор.

Я зажмурился, бросился за ним... Визжали лопнувшие струны гитары, раза два он задел его и меня, и я, а не ихтиозавр проломил головой гитарную деку... Ножка стула метила по студенистым спинам, я только отфыркивался от брызг.

А когда открыл глаза, передо мной стоял один Мельхиор с гитарным грифом в кулаке.

— А где же ихтиозавры? — спросил я, утирая лицо.

— Вот где, — строго сказал Мельхиор, указав на густой обвисающий с крыши туман, на утреннюю сырость, текущую по старой стене...

— Но ведь это одна сырость, Мельхиор.

— Ну да, мы так приколотили их, что они растаяли вовсе...

И почему-то усмехнулся, бросил гриф на мостовую и, не говоря больше ни слова, повернул к Известковой. Тогда и я бросил свою измочаленную ножку от стула и повернул на Грешную<sup>5</sup>.

И это все о Гомункулусе Мельхиора Краузе. На его доме теперь весело блестят золотые буквы вывески «Бюро пишущих машин».

А где теперь Мельхиор — я не знаю, и об его занятиях алхимией, — если бы даже вы и спрашивали меня, — я ничего больше не могу вам рассказать.

---

<sup>2</sup> Ул. Кальню (участок нынешней улицы Ленина от бывшей Ратушной площади до нынешнего бульвара Падомью).

<sup>3</sup> Ныне — улица Розена.

<sup>4</sup> Ныне — здание Верховного Совета ЛССР.

<sup>5</sup> Ул. Грещиниенку.



Протоиерей Александр КУДРЯШОВ

## «...ВСЯКОГО ПОМИЛУЙ И ОТ БЕДЫ ИЗБАВИ»

Привычно перестукивают колеса поезда Рига—Бигосово. Напротив меня у окна сидит девушка, в сущности еще девочка. У нее выразительная броская внешность, светлые красивые волосы. Но одета она по худшим образцам современной моды — безвкусно и кричаще. Ее провожала целая толпа сверстников, раскованно и свободно проявлявших свои эмоции не обращая внимания на окружающих. Прощаясь, они выкрикивали: «Чао, Ефа!». «Ефа, не скучай!»

Ефа неоднократно выходила курить. Часто разглядывала себя в зеркальце, подмазывая косметику, которая только портила ее юное лицо. Я попытался предложить спутнице газеты, журналы для чтения, на что она иронически произнесла: «Вы что, смеетесь?!» Но как бывшему преподавателю литературы мне было интересно ее отношение к литературе. Со снисходительной интонацией Ефа сообщила, что никогда ни одной книги не прочитала до конца, исключая учебу в 3—5-м классах, когда жила дома у родителей в деревне. «Книги — это нудно, да и зачем они? Есть кино, телевизор». Разговорились.

Ни о научном атеизме, ни о религии она не имела ни малейшего пред-

ставления, не проявляла интереса. Домой «к предкам» она ехала, чтобы получить «капусту». Я спросил, помогает ли она родителям, живущим в колхозе. «А зачем? — ответила она. — Они и так все дают». На вопрос, любит ли она кого-нибудь, Ефа, усмехнувшись, хмыкнула: «Ха, любовь! Это было в третьем классе». «А замуж?». «Зачем? Живу в общезитии, есть друзья, бываю у них... Сначала надо все узнать, испытать... Родители, естественно, против... но они отсталые. Колхозники, словом. Они даже не понимают, зачем мне дискотеки, кафе, тем более видики. Детей? Нет, не хочу. Не знаю. Я хочу жить для себя. По-моему, не смогу жить с одним мужем...» «А что у вас за имя — Ефа? Наверное, Ева?» «Нет, Ефа». «Так оно и пишется?» «Нет, это родители выдумали мне деревенское отсталое имя — Ефросинья».

Мы подъезжали к станции Кокнесе. Мне представился укрепленный замок могущественных полоцких князей — древний Кукейнос. И вспомнилась мне другая Ефросинья — Полоцкая.

Мысли мои потекли по другому руслу, и я забыл, каюсь, о своей

спутнице, хотя именно она, ее редкое в наши дни имя дало толчок размышлениям о жизненном подвиге совсем другой женщины, жившей в этих краях сотни и сотни лет назад...

Незаслуженно забытая просветительница, наставница милосердия и сострадания, святая Евфросиния Полоцкая, была родом из древнего Полоцка, столицы когда-то могущественного Полоцкого княжества. Отсюда, из этой колыбели в X—XII вв. шло распространение восточного православия, света Христова учения и к древним латышским племенам вниз по бассейну Даугавы. Преподобная Евфросиния была одной из первых подвижниц Полоцкой земли, являясь и просветительницей в восточных областях земли Латвийской. И до сего времени почти в каждой православной церкви Латгалии хранятся чтимые ее иконы, пред которыми теплятся лампады, возжигаются трудовые свечи и возносятся усердные молитвы. В городке Карсаве была построена Евфросиньевская церковь. И сегодня в ней звучат песнопения:

«Торжество днесь Преподобная Евфросиния празднующе, приидите вернии, воспоим подвиги и труды ея».

Преподобная Евфросиния, княжна Полоцкая Предислава, была правнучкой святого равноапостольного великого князя Владимира, крестившего Русь в 988 г. и внучкою знаменитого Полоцкого князя Всеслава Брячиславича, о котором говорит певец «Слова о полку Игореве»:

Уж и Двина (Даугава)  
по топям и болотам  
Под вражий гомон к Полоцку  
пошла  
.....

Днем Всеслав суды свои  
вершил —  
Для князей урядчиком  
был строгим,  
А в ночи, исполнен дивных сил,  
Рыскал по неведомым дорогам.

Солнцу путь не раз пересекал,  
Серым волком обратясь  
в тумане,  
Вечером он Киев покидал,  
Чтоб встречать рассвет  
в Тмуторокани.

В Полоцке звонили на заре  
Для него заутреню в Софии,  
А уж он на киевской горе  
Слышал переливы золотые<sup>1</sup>.

Обширное и могущественное Полоцкое княжество, родина преподобной Евфросинии, было одним из первых просвещенных светом Христовой веры. Уже в X веке здесь жили епископы. В 992 г. была учреждена Полоцкая епархия. В самом Полоцке с его стотысячным населением в XII в. было 15 церквей и 17 монастырей. Полоцк был крупным центром просвещения. Полоцкое княжество составляло удел потомков Изяслава, сына Владимира от Рогнеды, княжны Полоцкой. Князь Изяслав крестил своих полочан в X в. В XII в. владетельным Полоцким князем был Борис Всеславич, княживший вместе с своими братьями Святославом и Георгием. И вот в семье князя Георгия родилась в 1102 г. дочь Предислава.

Это были еще те времена, когда князья старались быть для своего народа и образцом христианской жизни. В их домашнем быту религия и церковность составляли главную основу. В таком же духе шло и воспитание детей, особенно девиц, будущих матерей, живших в тихих, уединенных родительских теремах.

Уже с самых ранних лет жизни юная Предислава выделялась из числа своих сверстниц как скромностью, милосердием, почтением к родителям и к старшим людям, так и тем, что, рано научившись грамоте, чрезвычайно полюбила чтение религиозно-поучительной литературы и всегда посещала храм Божий. Шумная жизнь княжеского двора мало влекла к себе ее возвышенную душу. Ее проницательный ум и пылкая фантазия живо рисовали в юной душе образы великих подвижников.

Нелегко жилось в те времена народу: войны, междоусобицы. Видела она, как после военного похода приносили тяжелораненых, как оплакивали убитых. Тяжело и тоскливо делалось ей на сердце. Неужели не хватает места на земле? Не веселили ее бедные песни отцовской

<sup>1</sup> «Слово о полку Игореве». Киев: «Днипро», 1977, с. 64.



дружины. Ей хотелось, чтобы люди жили в радости, благословляли жизнь. «Как бы помочь страждущим? — думала она. — Как бы стереть хотя бы одну слезу? Вызвать улыбку счастья хоть на одном скорбном лице?»

Жадно прислушивалась она к Священному Писанию: «... Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо им Царство Небесное.

Блаженны вы, когда будут поносить вас и всячески несправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика награда на небесах».

«Я буду переписывать книги священные: пусть люди больше читают. Тогда будут жить по-христиански, почеловечески». Обо всех болела она сердцем. Приведут пленных — она выйдет, приласкает их. Принесут раненых — Предислава перевязывает и обмывает их раны. Научилась она готовить лечебные снадобья. Стали приходиться к ней больные из города и из дальних мест. Княжна всем помогает. А иным и хлеба даст, в нужде поможет. Любо было князю-отцу, что Предиславу все величают Ангелом Божиим и что везде ей рады, как солнышку ясному.

Пришли года стать Предиславе невестой. Отец богат и славен. Княжна лицом и сердцем ангел, — женихи шлют сватов наперебой. Закручинилась Предислава. Кругом такое бездолье. Выйдешь замуж, пойдет своя семья, значит Божью семью — больных и несчастных — придется оставить? Не манило ее личное счастье. Земная же слава — дым и прах, подобно пару расходится она по ветру и проходит без следа. А отец все чаще и чаще стал говорить о женихах. Вот и просватал ее за соседнего молодого княжича.

В хоромах князя Полоцкого идет пир. Рукобитие заключили. А Предислава в своем тереме молится и плачет пред образом Спасителя.

Минула полночь. Предислава все у иконы.

— Господи! — взывала она. — Ты, указующий путь солнцу и движущий океаном, направь и смиренную рабу Твою! Укажи мне путь, где мне слезить любви Твоей!

Из-за края земли брызнуло солнце, заиграло на ризе иконы. В соседнем монастыре ударили к заутрене.

— Господь зовет, — сказала Предислава, накинула плат и вышла из терема.

Пошла в монастырь к игуменье, которая ей теткой приходилась.

— Матушка, постриги меня, — просит Предислава.

— Что с тобой, дитячко? Тебя ждет веселье, богатство; отец справляет рукобитие, а ты просишь черный клубок.

Игуменья боялась князя. Послала за епископом. Епископ тоже стал отговаривать:

— Юна ты еще, княжна. Тяжелое бремя это. Отец от тебя отречется.

— Бог будет мне Отцом, а несчастные и больные мне родней.

Покорились епископ и игуменья желанию княжны и постригли ее. И нарекли ее Евфросинией.

Наутро всполошился княжий двор — нет Предиславы. В тревоге посылает князь дружину. А в воротах монастыря встречают его епископ и игуменья: «Не ищи, князь, Предиславу. Ее нет более, а отныне — инокиня Евфросиния».

Вспылил грозный князь, грозил монастырь разнести.

— Против Бога не устоишь, — сказал епископ, — есть за тебя молитвенница Евфросиния.

Обмяк и все понял старый князь.

В монастыре Евфросиния переписывала священные книги. Красиво вводила букву за буквой. В бедные церкви она посылала книги даром, а что получала за прочие, то все раздавала нищим. Приводили к ней детей. Она учила их грамоте. Больные шли за лекарством. Больные душой — за ласковым словом, за утешением.

Живя в уединении, она вознамерилась основать новый девичий монастырь. Вскоре епископ Илия дарит преподобной Евфросинии место при церкви святого Спаса, где была летняя резиденция епископа. Приняв благословение епископа, Евфросиния вместе с одной инокиней собрала

сирот, убогих и нищих, направившись в усадьбу. Весь город дивился. За ней тянулись подводы с больными и малыми ребятами, плелись хромяе, слепые, бездомные. Всем нашлось дело. Рубили дрова, ловили рыбу, разводили пчел. Издали приходили нищие. Их никто не гнал. Приходили и богатые и несли свою лепту. В 1160 г. было освящение нового благолепного храма во имя Спаса, который был сооружен в течение одного года. И все пронесиеся над Полоцкой землей кривичей (белорусов) многовековые бури вражеских нашествий и других невзгод не сокрушили этой святыни, которая является одним из замечательных памятников церковного зодчества XII в.

Радовалась Евфросиния, радовалась все.

Подрастала вторая дочь в семье Полоцкого князя.

— У вас на дворе все пиры, пришлите сестрицу ко мне, — сказала Евфросиния. — Мы обучим грамоте, молитве. Вырастим вам ее как Божий цветок.

Привезли в монастырь Градиславу. Прошло несколько лет. Стала Градислава невестой. Зовут ее домой, а она просит ее навсегда оставить с Евфросинией.

Заплакали старики. «Во второй раз сиротишь нас», — сказали они Евфросинии. «Я не держу Градиславы. Приезжайте за ней», — ответила Евфросиния. Приехали. На другой день был большой праздник. Кончилась служба. Вышли князь и княгиня из монастыря. На площади народу видимо-невидимо.

Вдруг вся громада всколыхнулась. Толпа раздвинулась. «Крестный ход вышел!» — спрашивает князь Евфросинию.

— Нет, это народ встречает Градиславу. Она раздает помощь нищим.

Приезжали князь и княгиня еще. Зашел князь в келию и слышит: «Принесли к нему детей... ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус сказал им: пустите детей приходиться ко мне, и не препятствуйте им; ибо таких есть Царствие Божие». «Пустите детей, — сказал Христос», — повторил князь. — Не будем брать дочь отсюда.

Совершен был иноческий постриг Градиславы с именем Евдокии. Вскоре сюда же поступила и двоюродная сестра Евфросинии — Звенислава, в иночестве Евпраксия, принесшая в монастырь все дорогие вещи, приготовленные к ее браку. Словно пчелки трудились сестры. Многим облегчали страдания. Приютили немощных, указали путь любви, путь служения людям. Приходили и поступали в монастырь со всех сторон. С бассейна реки Двины (Даугавы) шли не только русские, кривичи, приходили из латгальских племен.

В монастыре была школа переписчиц, в которой учились и трудились юные подвижницы — послушницы и инокини. Много книг переписали они. Переписывала, писала и сама Евфросиния. Ее руками в назидание к любовию переписаны наставления великого Аввы (отца) русского иночества Феодосия Печерского: «Аще видиши нага, или голодна, или зимою, или бедой одержима, еще ли будет еврей, или сарацин, или католик или любой язычник — всякого помилуй и от беды избави, яко же можеша» (Патерик Киево-Печерский). Сохранилась одна из речей преподобной Евфросинии: «Я собрала вас, говорила игуменья инокиням, яко какош (курица-наседка) собирает птенцов своих под крыльях, собрала словесных овец на духовную пажить... Возрастайте в добродетелях от силы в силу, чтобы я с радостью могла заботиться о вашем спасении и с утешением видела бы духовные плоды трудов. Старайтесь, молю вас, сестры мои, старайтесь сохранить себя от грехов и избегнуть огня гееннского. Творите из себя чистую пшеницу Христову. Измельтесь в жерновах смирения, трудами постническими, чистотою, любовию и молитвою, да будете Богу в сладкий хлеб».

И никогда не бывала преподобная Евфросиния несправедлива или гневна, не посмотрела ни на кого сердито, но была всем милосердна, и тиха, и жалостлива ко всем. Вся жизнь ее была высоким каждодневным подвигом милосердия к ближним; она не переставала помогать бедным, страждущим, защищать обиженных и несчастных, укреплять слабых в истинах веры, она была примером для всей своей земли святой

своею жизнью и твердою верою; она горела как свеча. Летописец говорит, что «она красила землю Полоцкую многими монастырями и яко луч солнечная просветила всю землю Полоцкую».

Почти полвека преподобная Евфросиния была во главе основанной ею обители. Чувствуя приближение кончины, она решила исполнить свое давнишнее и заветное желание — посетить Святую землю. «Не оставлю вас сиротами; буду в местах святых молиться за вас и себя», — говорила она окружающим. Евфросиния отправилась на Восток в сопровождении своего брата князя Давида. Она благополучно прибыла во Святой Град Иерусалим. Там она мирно опочила на 72-м году своего праведного жития — 23 мая 1173 г. Ее погребли согласно ее завещанию, в монастыре св. Феодосия.

Тело ее недолго оставалось в Иерусалиме. Через 14 лет турки овладели городом. Христианам было разрешено покинуть город и взять с собою свои святыни. Монахи русского монастыря, удаляясь на родину, взяли с собою священные останки Полоцкой княжны Евфросинии, перевезли в Киев, где они в дальних пещерах св. Феодосия стали предметом высокого почитания и благоговейного поклонения.

23 мая 1910 г. совершилось торжественное перенесение останков святой Евфросинии Полоцкой из Киева в белорусскую землю, где и сегодня они почивают в выстроенном ею соборе св. Спаса в Полоцке...

Поезд мчится то отдаляясь, то приближаясь к Даугаве — древней дороге длиною в тысячу лет. Жизни двух молодых женщин тоже разделены почти тысячелетием. Евфросиния отказалась от богатств и удовольствий; постоянным героическим самоотвержением, милосердием она вела себя как мать громадной семьи, ей не были безразличны горести и радости людей. Вторая Евфросинья, Ефа, естественно, никогда и не слышала о своей тезке, служительнице милосердия...

И сейчас, в дни юбилея — 1000-летия крещения Руси, как никогда отчетливо вспоминается светлый облик Евфросинии Полоцкой и те уроки, что мы можем извлечь из ее жизни. И совсем не обязательно идти в монастырь или быть матерью Терезой, чтобы в сердцах наших Еф пробудить милосердие и скромность.

И еще одну великую женщину я вспоминаю — мать Марию. Приходится сожалеть о том, что наша молодежь, особенно будущие рабочие, и такие девочки из ПТУ, как Ефа, не знают эти светлые и чистые образы — не литературных персонажей, а реальных людей, сердце которых горело любовью к людям.

Из моего опыта могу сказать: от того, что молодежь больше будет знать о «святых подвижниках», религиозность не увеличится. Но у части молодежи появятся конкретные, исторические образы чистой, самоотверженной жизни, которая через века светит в наше время своим неиссякающим примером милосердия, уважения и любви к людям, к миру...

## ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗРАЗИТЬ

(из личного опыта)

Когда мы говорим, что с перестройкой у нас наступила эпоха гласности, то вне зависимости от того, насколько оправдан здесь совершенный вид глагола, в этом утверждении явственно просвечивает вполне определенная характеристика прежнего, «доперестроечного» состояния нашей прессы. Того состояния, когда печать и прочие средства массовой коммуникации есть, а гласности тем не менее нет. То есть, конечно, не вовсе нет, но она существует в столь ограниченном, урезанном, бюрократически зарегулированном виде, что называть это гласностью не поворачивался язык. Если мы хотим преодолеть это состояние, и преодолеть необратимо, нам нужно его прежде всего как следует осознать. Предлагаемые заметки имеют в виду эту общую цель, хотя конкретный предмет их значительно уже. Речь пойдет о праве на полемическое выступление в печати. Притом о праве обеспеченном, о таком, каким каждый человек при желании мог бы воспользоваться.

Важность такого права едва ли нуждается в пространных пояснениях и доказательствах. Если оно не реализуется, это означает не что иное, как полную бесконтрольность прессы — в смысле отсутствия читательского, общественного контроля над нею, возможность без всяких огра-

ничений манипулировать общественным сознанием. А это, в свою очередь, один из решающих признаков недемократичности соответствующей социальной структуры.

Нельзя сказать, чтобы и до нынешних времен (за вычетом разве второй половины 40-х годов, когда споры в печати сошли почти на нет) нас когда-либо вовсе лишали указанного права. Но и в том случае, когда публикуемый «отрицательный» отклик не был по тем или иным соображениям «организован» самой редакцией, между автором такого отклика и читателем всегда «как грозный часовой» стоял Редактор — лицо, которому вручено было право решать, какую критику и на какие произведения, явления или лица он может допустить, а на какие — нет. Ни о каких гарантиях тут не могло быть и речи.

Сейчас в данной области кое-что изменилось, однако решающие изменения пока еще впереди.

Позволю себе в этой связи предложить вниманию читателя некоторые эпизоды из собственной практики общения с печатью. Надеюсь, это не станет для него основанием заподозрить меня в нескромности или эгоцентризме. Просто свой опыт тем хорош, что тут уж знаешь все самолично и можешь отвечать за каждую деталь.

## БАГРОВЕЛ ЛИ ТВАРДОВСКИЙ!

Первый эпизод — восьмилетней давности, из самых глубин «брежневского» двадцатилетия. Передо мной в машинописных копиях несколько писем: все они относятся к последним месяцам 1979 года. Это моя переписка с «Литературной газетой» по поводу одного тогдашнего интервью писателя Михаила Алексеева, помещенного в этой газете (8 августа 1979 г.). Речь в нем шла, в частности, о Твардовском.

«Немало волнений, — рассказывал М. Алексеев, — пришлось пережить с повестью «Карюха». В «Новом мире» скорее всего подготовили на нее рецензию. Рецензия была разгромная. На редколлегии, где решалась судьба рукописи, разгорелись страсти. Редактировал журнал в эти годы Александр Трифонович Твардовский. Он, конечно, не мог читать все материалы, поступающие в журнал, и очень доверял вкусу, профессиональному чутью своих сотрудников. Но тут дело было спорное. Его убедили прочесть «Карюху». Он взял ее с собой домой. А на другой день звонит в редакцию и просит прислать ему «Хлеб — имя существительное», в свое время в пух и прах разнесенный на страницах того же журнала. А потом потребовал и «Вишневым омут». Далее рассказывалось о том, как «через несколько дней» после описанных событий, когда в Центральном доме литераторов «праздновали юбилей М. Исаковского», Александр Трифонович подошел к М. Алексееву и, побагровев, произнес «ошарашившую» его фразу: «Алексеев, мы были к вам несправедливы».

Для всякого, кто сколько-нибудь следил за ходом литературно-общественной борьбы второй половины 60-х годов, это сообщение было едва ли не сенсационным. Твардовский, краснея, признает свою неправоту — перед кем? Перед тем, кто имел репутацию одного из главных его литературных противников! Перед редактором «Москвы», которая вместе с кочетовским «Октябрем» из номера в номер объявляла злонамеренным «очернительством» критическое изображение и осмысление в «Новом мире» и неизжитого наследия сталинской эпохи, и явлений начи-

нающегося застоя! Но стоило слегка присмотреться к рассказанной М. Алексеевым мемуарной новелле, как бросались в глаза явные несообразности и противоречия.

Повесть «Карюха» была напечатана весной 1967 г. («Огонек», № 18—21). Юбилей же М. В. Исаковского пришелся на январь 1970-го. Таким образом, если упоминавшаяся рецензия была подготовлена даже не очень «скоренько», то и тогда между ее обсуждением и юбилейным вечером должны были пройти не «несколько дней», а два с половиной года. Срок более чем достаточный, чтобы Александр Трифонович — если бы он действительно убедился в том, что прежние «новомирские» оценки произведений М. Алексеева были несправедливыми, — смог высказать это убеждение не только устно, но и печатно (что, кстати сказать, он при своей принципиальности в таком случае непременно бы и сделал). Между тем ничего такого не было. Напротив, было нечто совсем другое, о чем в интервью не говорилось ни слова: был случай, когда «Новый мир» Твардовского вновь вернулся к оценке творчества М. Алексеева.

За последнее время в нашей печати не раз вспоминали о том, как летом 1969 года (через два года после «Карюхи») несколько печатных органов, включая «Советскую Россию» и даже далекую от литературы «Социалистическую индустрию», дали дружный залп по «Новому миру», уже не по отдельным его выступлениям, а по журналу в целом. Кульминационным пунктом этой хорошо организованной кампании — за которой вскоре последовало решение о смене редколлегии «Нового мира», вынужденный уход Твардовского, а затем и болезнь его, окончившаяся смертью, — явилось письмо одиннадцати литераторов под характерным «сигнализирующим» заглавием «Против чего выступает «Новый мир?»» («Огонек», 1969, № 30); под ним стояла и подпись М. Алексеева. В свою очередь в заметке «От редакции?» («Новый мир», 1969, № 7), написанной в ответ на это письмо при непосредственном участии Твардовского, он был назван в числе авторов, которые «подвергались весьма серьезной критике на страницах

«Нового мира» за идейно-художественную невзыскательность, слабое знание жизни, дурной вкус, несостоятельность письма», и заинтересованный читатель отсылался к двум рецензиям на его произведения: моей — на «Хлеб — имя существительное» («Новый мир», 1965, № 1), о которой упоминалось в интервью, и Натальи Ильиной — на «Повесть о моих друзьях-непоседах» («Новый мир», 1966, № 1), — к тем самым, которые якобы были опровергнуты прозревшим после «Карюхи» Твардовским.

Размышляя над тем, почему столь знаменательный и к тому же печатно засвидетельствованный факт так бесследно изгладился из памяти мемуариста, нельзя было не прийти к выводу, что причина тут, по-видимому, та же, что и у несообразностей с хронологией. Ведь если между 1967 и 1970 годами прошло не «несколько дней» и если в промежутке между ними оказывается упомянутая характеристика («дурной вкус» и проч.), то все его построение, включая попытку отделить Твардовского от «Нового мира», противопоставить его «своим сотрудникам», обращалось в карточный домик.

Ввиду историко-литературной да и общественно-политической важности темы я посчитал своей обязанностью поделиться этими соображениями с читателями «Литературной газеты» — в форме открытого письма М. Алексееву — и 16 августа 1979 г. отправил в газету такое письмо. Через какое-то время мне стало известно, что раньше меня или одновременно со мною свои протесты по тому же поводу и по тому же адресу послали М. И. Твардовская и некоторые из моих товарищей по «старому» «Новому миру» и что им уже приходят однотипные отписочные ответы. И хотя сам я — шла неделя за неделей — не получал в ответ ничего, становилось все более очевидным, что никаких публичных возражений М. Алексееву редакция допустить не хочет. Тогда мне пришла мысль по крайней мере зафиксировать это обстоятельство, засвидетельствовать его документально. И 26 сентября я вновь написал в «Литгазету», на имя ее главного редактора, — короткое письмо с напоминанием об обя-

занности газеты отвечать на письма трудящихся. По-прежнему упорное (и все более красноречивое) молчание. Подождав несколько недель, написал снова. Воспроизвожу, в сокращении, это письмо:

Главному редактору  
«Литературной газеты»  
А. Б. Чаковскому

Не получив ответа на два предыдущих моих письма в «Литературную газету (...)» я тем не менее решил, по прошествии еще двух месяцев, написать Вам в третий раз, чтобы сформулировать выводы, в которых утверждает меня, в частности, и сама односторонность нашей «переписки». Вот основной из них: выступление «Литературной газеты» и последующее ее поведение в данном вопросе представляют собой, если брать все это в целом, сознательный акт обмана, умышленное распространение заведомо ложных сведений об А. Т. Твардовском.

Действительно, можно ли посмотреть на дело иначе? В «Литературной газете» выступает литератор, чьи произведения рассматривались «Новым миром» Твардовского как характерный образец псевдонародности, безвкусицы, художественной неправды и который сам, в свою очередь, был известен как один из наиболее активных литературных противников Твардовского. Выступает с заявлением, что критика его сочинений в «Новом мире» объяснялась лишь тем, что главный редактор слишком поздно удосужился их прочитать и слишком доверился своим недобросовестным сотрудникам, а когда прочитал, то, побагровев от стыда, просил у него, Алексеева, прощения. Твардовский опровергает новомирскую критику, и не в каком-нибудь частном пункте, а в том, что считалось выражением принципиальной линии журнала! Это ли не сенсация!

Дальше события развиваются следующим образом. Газета получает целую пачку писем, из которых явствует, что в рассказанной М. Алексеевым истории нет ни слова правды. Когда я писал ему свое открытое письмо, я (...) все-таки допускал, что в обман этот могли быть вкраплены, пусть в искаженном, перетолкованном виде, какие-то крохи ре-

альности. В действительности, как выяснилось, ваш «мемуарист» обошелся даже и без таких крох. В своих письмах в «Литературную газету» вдова поэта М. И. Твардовская, люди, вместе с ним работавшие в журнале (В. Я. Лакшин, А. С. Берзер, К. Н. Озерова, Г. П. Койранская), а также критик Наталья Ильина, опираясь не только на свою память, но и на разного рода документальные источники, засвидетельствовали, что

— ни рукописи «Карюхи», ни какой бы то ни было рецензии на нее в редакции «Нового мира» никогда не было; ни самая повесть, ни рецензия на редколлегии журнала не обсуждались;

— с произведениями М. Алексеева, получившими отрицательную оценку на страницах «Нового мира», Твардовский был знаком до опубликования соответствующих критических материалов; более того, он первым среди сотрудников журнала прочел «Повесть о моих друзьях-непоседах» и лично заказал Наталье Ильиной критический фельетон «Сказки брянского леса», который до конца своей жизни считал одним из лучших выступлений журнала; никакому пересмотру его отношение к сочинениям М. Алексеева никогда не подвергалось;

— на юбилейном вечере М. В. Исаковского, состоявшемся не в ЦДЛ, а в зале им. Чайковского, Твардовский не председательствовал и с М. Алексеевым не беседовал.

Таким образом, было установлено, что не только по сути, но и по всем деталям, из коих М. Алексеев сплел сюжет рассказанной им истории, она представляет собой чистейшую выдумку. (. . .)

Как же ведет себя в подобной ситуации «Литературная газета»? Публикует эти письма, на чем настаивают их авторы (кстати, четверо из них — члены Союза писателей) и как того требует элементарная журналистская этика? Печатает хотя бы одно из них? Каким-либо иным способом дезавуирует свое сообщение? Нет, она не делает ни того, ни другого, ни третьего. Тогда, может быть, она — сама или с помощью того же М. Алексеева — что-либо возражает авторам писем, оспаривает какие-то приведенные ими факты? Опять-таки

нет. Она либо молчит (в случае со мною вот уже три месяца), не реагируя ни на какие напоминания, либо отвечает — за подписью члена редколлегии Ф. Чапчахова — короткой штампованной отпиской, содержание которой сводится к тому, что редакция не намерена возвращаться к интервью М. Алексеева, — с добавлением, столь же безграмотным по стилю, сколь фарисейским по существу, что это, дескать, «не способствовало бы памяти Твардовского». Следовательно, когда М. Алексеев рассказывает всему свету, будто редактор «Нового мира» краснел перед ним и просил извинения, то это «способствует памяти Твардовского», а когда приходят люди и с фактами в руках доказывают, что ничего подобного не было, то это, оказывается, «не способствует» и перед ними захлопывают дверь.

Что можно сказать по поводу подобных ответов (равно как и неответов; разница между теми и другими, как видим, невелика)? Прежде всего из них явствует, что ни М. Алексееву, ни газете сказать абсолютно нечего. Никаких аргументов, которые они могли бы привести в подтверждение своего сообщения, равно как и никаких возможностей опровергнуть то, что говорят авторы писем, у них нет. (. . .) Если до этих «ответов» между М. Алексеевым и участвующими его письмами еще как бы существовала ситуация спора, то теперь спор закончен, обман, совершенный им, не только доказан, но, по существу, подтвержден и самой «Литературной газетой». А с другой стороны, из них же следует, что восстанавливать истину редакция не собирается, полученные опровержения намерена скрыть, а их авторам предлагается тем или другим способом заткнуть рот. (. . .)

Без надежды на ответ (подпись)

24 ноября 1979 г.

Действительно: ответа я уже не ждал, и на этом можно было бы закончить, но чтобы поставить последнюю точку над «i», решил сделать еще один шаг: написал заявление в секретариат правления Союза писателей СССР, приложив к нему копии своего открытого письма и двух последующих писем в «Литгазету».

По всем нормам, секретариат обязан был рассмотреть заявление члена Союза писателей и дать на него официальный ответ. Даже если бы речь шла о чем-то гораздо более мелком, нежели обнаруженная перед руководством союза безнравственность поведения его главного органа. Тем не менее и секретариат мне тоже не ответил — ни письменно, ни устно. Единственное, что я получил, так это запоздалую отписку Ф. Чапачова («в связи с Вашим заявлением в секретариат правления Союза писателей СССР»), отличающуюся от тех, что ранее получили мои товарищи, лишь неловкой попыткой объяснить упорное молчание «Литгазеты» сплошной, многозвенной цепью почтовых пропаж. Разоблачить это неудачное сочинение не стоило большого труда, тем более при сохранившихся «уведомлениях о вручении», и 12 декабря того же года я вновь обратился к руководству Союза писателей, настаивая на рассмотрении своего заявления.

Овета жду вот уже девятый год. Срок достаточный, чтобы не спеша обдумать вышеописанный случай. И чем больше я думал о нем, тем более показательным он мне представлялся, тем явственнее проступали в нем характерные черты того общего положения вещей, которое мы сейчас поставили задачей преодолеть.

В самом деле, о чем говорит тот факт, что ни мне, несмотря на все усилия, ни людям, гораздо более меня известным и авторитетным, не дали тогда возразить М. Алексееву (чье заявление так до сих пор и остается непровергнутым)? Он знаменует собой то, что можно было бы назвать **бессилием правды**. Это не значит, конечно, что всюду царила одна сплошная ложь, правду же вообще никуда и ни по какому случаю не пускали на порог. Но — могли и не пустить. Если была не нужна, если в чем-то расходилась с «видами начальства», если кому-то или чему-то мешала, могли без дальних объяснений захлопнуть перед нею дверь.

В описанном выше случае на то были две легко угадываемые причины.

Первая заключалась в общественном положении М. Н. Алексеева (редактор толстого журнала, секретарь

правления Союза писателей РСФСР и прочая, и прочая, и прочая). Конечно, не каждый на его месте мог решиться на такой необычный шаг. Но поскольку он на это решился, дальнейшее развитие событий было этим уже в значительной мере предопределено. Должен был сработать тот неписанный закон, который, как утверждают социологи, действует в элитарных группах и сводится, попросту говоря, к принципу взаимного невмешательства. Нас не трогай — мы не тронем. Если некто, обладающий силой, властью, связями, не меньшими, чем твои, считает нужным сделать какой-то шаг, против тебя ни прямо, ни косвенно не направленный, то предоставь ему его сделать, не становись у него на пути. Тогда и он в соответствующем случае не помешает тебе, а глядишь, и поможет. Так что, если бы даже редактору «Литгазеты» не слишком нравилась интересующая нас часть интервью М. Алексеева, потребовать ее исключения либо возразиться опубликовать какие-либо возражения на нее было бы с его стороны прямым нарушением названного принципа, более важного, чем какие-то «формальные» редакторские обязанности. Перед той же дилеммой оказались и руководители СП СССР, на которых пала досадная необходимость рассматривать мои заявления: дать им ход значило нарушить этот принцип не только по отношению к М. Н. Алексееву, но уже и по отношению к А. Б. Чаковскому. И они сделали точно такой же выбор: заявления были оставлены без ответа и положены под сукно.

Второй специфический момент заключался в самом Твардовском, вернее в официальном отношении к нему тех времен, когда со многих сторон урезанный, отделенный от себя самого, с особенной беззастенчивостью «присваивался» он теми, против кого при жизни воевал. Тут была замешана тогдашняя «большая политика», и потому расчет М. Алексеева был безошибочен вдвойне: с человеком, который взял на себя инициативу заставить Твардовского признать правоту своих бывших противников и хотя бы в одном, но принципиальном пункте отмежеваться от «линии «Нового мира»», никто — ни редактор «Литгазеты», ни



секретариат Союза писателей — не могли и не захотели бы допустить открытого спора.

Все это так. Но разве и сами эти специальные причины не были выражением общего? Разве разгром «Нового мира» Твардовского не был, в свою очередь, самым красноречивым и крупномасштабным за всю историю советской журналистики пресечением «возможности возразить»? И разве, с другой стороны, страховый полис от критики, выданный М. Алексееву редактором «Литгазеты» и руководством Союза писателей, представлял собой что-нибудь исключительное? Здесь оградили от неприятных возражений одно из влиятельных в этом союзе лиц, там — скажем, в областной или районной газете — отказали в публикации письма с критикой, например, какого-нибудь директора завода, поскольку он к тому же член бюро обкома или райкома... Истории разные, а суть одна: бессилие правды. И не было у нее в тогдашних условиях почти никаких реальных возможностей себя отстаивать. Другая газета или журнал? В 70-е годы они в этом отношении мало отличались друг от друга да к тому же были незримо скреплены вышеупомянутой системой неформальных начальственных связей. Отговорка всегда оказывалась наготове. Вы не согласны с «Литгазетой»? — вот туда и обращайтесь. У них там в каждом номере «Спор идет», а нам с ними связываться ни к чему, нам это не по профилю, у нас все номера забиты на год вперед... Стандартные, заранее известные ответы.

Не отсюда ли то спокойствие, та незыблемая уверенность в собственной неуязвимости и безнаказанности, которая сквозила во всем поведении упоминавшихся лиц?

И М. Н. Алексеева, заранее пренебрегшего неизбежными опровержениями в твердом убеждении, что хода им не дадут. И Ф. А. Чапчачова с его высокомерно-односложными отписками, даже и не претендующими на какую-либо убедительность, а лишь призванными показать, что автор их выступает «с позиций силы». И А. Б. Чаковский и его коллега по секретариату «большого Союза» с их совсем уже величественным, непробиваемым молчанием. Так

вести себя можно было лишь в одном случае: когда твердо знаешь, что такое поведение и есть реальная общественная норма (как бы та же «Литературная газета» ни доказывала подчас противоположное, укоряя отмалчивающихся и отписывающихся заместителей министров).

Но что такое бессилие правды? Не что иное, как бессилие человека. Если член творческого союза раз и другой обращается к руководителям этого союза, а они ему даже не отвечают, то как в таком случае определить их взаимные отношения? Кто они по отношению к нему: товарищи по ремеслу, временно им уполномоченные на выполнение некоторых общецеховых организационных функций, или же вознесшаяся над ним привилегированная группа, практически не сменяемая, ни в малейшей степени ему не подконтрольная, более того, просто-напросто помыкающая им, как и прочими «рядовыми»? Ответ очевиден. Если кто-то посылает в газету (в наших условиях являющуюся государственным учреждением) свой протест против помещенного в ней материала, если он стучится туда раз, другой, третий — и встречает гробовое молчание, значит, как ни грустно это признать, его просто не считают за человека. Значит, записанные в Конституции его гражданские права, включая свободу слова и печати, попросту игнорируются как нечто, существующее только на бумаге.

Безгласность, невозможность возразить есть в действительности не только недостаток гласности, но и нечто большее: по сути дела, это эквивалент бесправия и произвола, своего рода символ недемократических общественных отношений. Как, с другой стороны, и утверждающаяся ныне гласность — она тоже шире самой себя: она проявление иного взгляда на человеческую личность, иных, демократических взаимоотношений между людьми.

## ОПЫТ НЕСОГЛАСИЯ

Об успехах нашей нынешней гласности трудно говорить без искреннего воодушевления. Однако если мы хотим не только праздновать, но и развивать эти успехи, нам следует

вполне точно, не впадая в восторженные преувеличения, сознавать реальные пределы достигнутого. В частности, и по отношению к тому, насколько выросла и упрочилась к настоящему времени доступная каждому из нас возможность возразить.

Позволю себе в этой связи еще пару эпизодов из собственной авторской практики.

В конце 1986 — начале 1987 года я написал небольшую статью в виде отклика на помещенные в «Огоньке» фрагменты воспоминаний Ю. В. Трифонова, собственно даже не статью, а историческую справку о последних месяцах Твардовского в качестве редактора «Нового мира», включая подневную хронику его гражданского поведения во время операции по разгрому журнала в феврале 1970 г. Не будучи непосредственно полемической, она, конечно, несла в себе определенный критический заряд — по отношению к тем, кто санкционировал и осуществлял этот разгром; некоторые из них были названы здесь поименно. И вот, прежде чем увидеть свет, заметка эта побывала последовательно в редакциях трех московских газет и шести журналов. Везде к ней относились очень хорошо, предлагали своим главным редакторам, а возвращая мне текст, высказывали искреннее сожаление. Но для одного она оказывалась слишком велика (а дробить такой материал нельзя!), для других слишком мала, недостаточно фундаментальна, для третьих, в их трудных обстоятельствах, несвоевременна. Мотивы отказа звучали различно, однако основной причиной, как откровенно признавались мне в иных редакциях, были именно упомянутые здесь имена: частичное обнаружение той роли, какую сыграли в проведении названной операции некоторые по-прежнему влиятельные литературные деятели. А в одном журнале не стали и темнить: твердо брались напечатать, если имена этих деятелей будут сняты. А еще в одном и вовсе чуть-чуть бы не напечатали: главный редактор, вначале решившись на это, в последний момент изъял статью из номера, уже подписанного к печати.

Прошу поверить: я отнюдь не жажду и не обвиняю. Просто хочу

констатировать тот факт, что и в условиях минувшего года, когда, как казалось, навверное, многим, гласность прорвала все плотины, обусловленная ею «возможность возразить» оказалась в данном случае весьма труднодостижимой, — даром что «возражение» относилось к событиям почти двадцатилетней давности. Но если эта заметка в конце концов все же была опубликована («Октябрь», 1987, № 12), то попытка высказать несогласие с одним уже сегодняшним выступлением ряда «значительных лиц» нашей литературы потерпела полную неудачу.

Весной прошлого года в еженедельнике «Литературная Россия» (1987, 24 марта) появился развернутый отчет о заседании секретариата правления Союза писателей РСФСР. Своим образом этого, можно сказать, исторического заседания состоялось в том, что едва ли не впервые за время перестройки здесь одна за другой раздавались речи, выдержанные в одной и той же мрачной тональности, проникнутые общим чувством раздражения по поводу процессов, протекающих в последнее время в советской печати, литературе, критике. Один из ораторов сравнил нынешнее положение вещей с тем, какое создалось «в июле 1941 года, когда прогрессивные силы, оказывая неорганизованное сопротивление, отступали под натиском таранных ударов цивилизованных варваров», и пророчествовал, что «если это отступление будет продолжаться и не наступит пора Сталинграда (!) — дело кончится тем, что национальные ценности... будут опрокинуты в пропасть». Ему вторил другой: «Кое-кто сегодня хочет свалить все духовные ценности в яму и закопать, чтобы и духу не было прежних наших завоеваний в культуре». «У нас сложилась беспокойная обстановка в писательских организациях России», — сетовал третий. «Бог знает, куда мы докатимся», — пугал четвертый.

Откуда, хотелось спросить, эта осень весной, эти угрюмые интонации, образы чуть ли не конца света: «пропасть», «яма», «могила»? Почему и десять, и пять, и три года назад, когда положение страны (литературы и критики в том числе) становилось все более удручающим, те же ораторы, как можно судить по тогдаш-

ним их выступлениям, пребывали в отличном настроении? Почему оно так резко испортилось именно теперь — с первыми шагами гласности, демократизации, общественного обновления?

Ответ напрашивался сам собою. Называя вещи своими именами, заседание, посвященное обсуждению «задач писателей России в свете решений январского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС», вылилось на деле в своего рода форум людей, раздраженных и обеспокоенных перестройкой. Конечно, слегка прикрытый фиговыми листочками дежурных «одобряющих» фраз, но в целом достаточно откровенный в этом своем качестве. Примечательно, что ни во вступительном слове, ни в докладе, ни в выступлениях в прениях, судя по отчету, ни слова не было сказано о том, как отразилась обстановка безгласности и застоя на деятельности руководства СП РСФСР и его печатных органов и что предстоит сделать теперь, чтобы это исправить.

Неожиданно ли было подобное выступление именно данной группы лиц? Для человека того поколения, которое помнило, какую роль играли многие из них во второй половине 60-х годов, когда затопывался процесс демократизации, начатый XX съездом партии, это не было неожиданностью. Любопытная деталь: трое из ораторов, чьи речи с особой отчетливостью выявили общую тенденцию заседания (М. Алексеев, П. Проскурин, Н. Шундик), подписали в 1969 году упоминавшееся «письмо одиннадцати», добывавшее «Новый мир» Твардовского, а четвертый (А. Софронов) напечатал его на страницах тогдашнего «Огонька».

То, что литературные представители сил торможения выступили, — и с трибуны, и в печати, — это само по себе можно было бы только приветствовать. Во-первых, на то и гласность, чтобы любая общественно значимая точка зрения имела возможность себя заявить. Во-вторых, их выступление положило конец ложному впечатлению, будто все у нас «за» и процесс перестройки может пройти гладко, без сопротивления. Плохо было, однако, другое: как видно из отчета, на подобные речи никто не возразил. Не дали слова? Или при данном составе участников

заседания даже и охотников не было возражать?

Как бы то ни было, я почувствовал желание это сделать, в частности и как член республиканской писательской организации, от имени которой выступали означенные товарищи. Выразив свое мнение в виде короткого письма в редакцию «Литературной России» (близкого по содержанию к тому, что здесь изложено), в сопроводительной записке на имя главного редактора высказал надежду на то, что и мне его газета не откажет в равных возможностях гласности.

Надо отдать должное, он ответил мне буквально в тот же день:

14.IV.1987

Уважаемый Юрий Григорьевич!

Ваше «Письмо в редакцию» мы опубликовать не можем, т. к. оно касается не собственно редакционного материала, а отчета о состоявшемся секретариате правления СП РСФСР. Дело другое, если бы в письме шла речь об искажении чьей-то мысли на этом секретариате, неточности, ошибке, допущенной редакцией. Вы же выражаете несогласие почти со всеми ораторами, а по существу оспариваете позицию всего секретариата. В таком случае Вам следует апеллировать к вышестоящему органу, а именно — к правлению Союза писателей РСФСР.

С уважением М. Колосов  
главный редактор  
«Литературной России»

Очень интересным показался мне этот ответ. «Не можем опубликовать» — почему? Может быть потому, что письмо неграмотно, бессодержательно, нелогично, содержит оскорбительные выпады личного характера? Нет, на этот счет не высказано никаких претензий. Тогда в чем же дело? Первое объяснение, предлагаемое М. М. Колосовым, состоит в том, что оно «касается не собственно редакционного материала, а отчета». Но откуда взялось такое ограничение? Разве наша печать не публикует — притом в большом количестве — отклики на заседания и пленумы различных руководящих органов, на речи, которые там произносятся и с которыми мы точно так же знакомимся по газетным отчетам? Нет, тут явно что-то не так, и

М. М. Колосов, сам чувствуя необузданность этой части своего ответа, называет чуть ниже уже настоящую причину: мое «несогласие почти со всеми ораторами», попытку оспорить «позицию всего секретариата». Вот это уже другой разговор, и его имеет смысл продолжить.

Итак, мне с достаточной откровенностью было заявлено, что мой отклик не напечатан потому, что он — против. Что быть помещенным на страницах «Литературной России» он имел шансы при двух условиях: если бы одобрял позицию секретариата или, в крайнем случае, если сводился бы к какому-нибудь мелкому уточнению — не более того. «Несогласному» же указывалась единственная возможность — «апеллировать к вышестоящему органу».

Прекрасный совет, разрешающий все вопросы. Кроме одного: какое отношение имеет он к гласности? Гласность, выражающуюся в праве на публичное одобрение руководящих речей и решений, а с другой стороны, на апелляции в вышестоящие органы, — такую-то гласность имели мы и до перестройки... Самое главное, чем замечателен ответ редактора «Литературной России», — это то, что весь он соткан из **старого** материала, из старых представлений и норм, новое же, то, что называется «эпохой гласности», не отпечаталось здесь ни единым мельчайшим штрихом. Это не ответ журналиста-демократа, который видит свой долг в полном и адекватном выражении общественного мнения и для которого самой главной из вышестоящих инстанций является читатель, то есть народ: это ответ чиновника в вицмундире Департамента печати, озобоченного лишь мнением начальства, а по отношению к материалам, которые с этим мнением расходятся, видящего свою обязанность в том, чтобы «отбивать» их, закрывать им дорогу в печать. Желательно — вежливо, со сколько-нибудь правдоподобной мотивировкой, а по возможности и с добрым советом... уводящим в пустоту.

Признаюсь, я не последовал этому совету. И потому, что уже стучался в подобные двери — с результатом, известным читателю. И потому, что убежден в справедливости принципа, на котором всегда настаивал Твар-

довский: с опубликованным в печати лишь в печати же и следует спорить. Толкнувшись без успеха туда-сюда, оставил эту затею. Однако урок, преподанный мне редактором «Литературной России» (наряду со всеми прежними и некоторыми последующими опытами такого рода), я, понятно, не мог не принять во внимание. На протяжении 1987 года при чтении нашей прессы меня еще не раз подмывало схватиться за перо. Но вспоминался М. М. Колосов (и конкретный, и, так сказать, символический) — и пропадала охота писать лишь затем, чтобы заставить его поломать голову над очередной вежливой отпиской.

Разумеется, я далек от того, чтобы на базе каких-то не совсем благоприятных личных впечатлений последнего времени ставить под сомнение как общий прогресс в сфере гласности, так и расширение ее в рассматриваемой плоскости — критики, полемике, словом, «возможности возразить». Это было бы противно всякой очевидности, в том числе и моему собственному авторскому опыту. Ведь как бы то ни было, а заметка о конце «старого» «Нового мира», хоть и с десятой попытки, все же увидела свет; три года назад об этом нельзя было и помыслить. И разве могла быть в те времена возможна та публикация читательских писем, к которой эта заметка была присоединена? Я имею в виду прежде всего письма-возражения, письма-протесты. Те, которые не только автора, но заодно и редакцию обличают в таких смертных грехах, что, помещая эти письма, она, кажется, сама на себя доносит куда следует. Можно ли было раньше представить себе в печати что-либо подобное?

Нет, конечно. Но вот что при этом бросается в глаза: едва ли не в каждом протестующем письме звучит один и тот же мотив — неуверенность в том, что оно может быть опубликовано. Или даже уверенность в обратном. О чем это говорит? Я думаю, ни о чем другом, как о том, что хотя подобные публикации сегодня уже не редкость, нормой они все-таки далеко не стали. Захочет редактор поместить такое письмо — поместит, не захочет — ограничится в лучшем случае почтовым ответом. Никакой обязатель-

ности для него тут нет, как нет, соответственно, никаких гарантий для самого «протестанта».

Поэтому, между прочим, если бы меня спросили: возможно ли было бы сегодня что-либо подобное инциденту, рассмотренному в первой части статьи, — я, пожалуй, не решился бы ответить на этот вопрос категорически отрицательно. И не столько даже потому, что все, без исключения, действующие лица той давнишней истории и ныне пребывают в прежних социальных ролях (что тоже само по себе знаменательно). Главное в том, что хотя уровень гласности заметно вырос, однако институт гласности и связанные с ним общественные отношения не претерпели пока что сколько-нибудь значительного изменения.

Что же, конкретно говоря, препятствует и сегодня свободному осуществлению гласности? Что ограничивает для нас с вами «возможность возразить»?

Одно из бросающихся в глаза обстоятельств состоит в том, что эта возможность в известной мере лимитирована уже самим «рангом» издания. Так, например, районная газета не может допустить на своих страницах ни сколько-нибудь серьезного спора с газетой областной, ни критики районного комитета партии, ни просто даже полемики с каким-либо выступлением секретаря райкома. Хочешь с этим выступить в печати — пиши в областную газету; хочешь критиковать обком — обращайся в «Правду»: авось тебе повезет и, извлеченная из тысяч приходящих туда писем, твоя полемическая заметка попадет на страницу главной газеты страны. Только велики ли шансы, даже теперь, когда подбирают читательских писем печатаются гораздо обильнее, чем прежде?

Сказанное имеет отношение и к болей общей ситуации нашей печати: к зависимому положению обеих ее главных фигур — Автора и Редактора. Автор (если только он не из тех, кого Редактор выходит встречать к подъезду) целиком зависит от Редактора, облеченного властью решать — печатать его рукопись или нет. В свою очередь, Редактор отвечает за свою деятельность не столько перед читателем (лишь морально), сколько — практически и материаль-

но — перед своим начальством, то есть прежде всего перед руководством того государственного или общественного института, органом которого является возглавляемый им журнал или газета. Именно эти люди его назначили (или, по крайней мере, представили к назначению), они же могут его и сместить (или, по крайней мере, сделать так, что он будет смещен). И не только могут, но даже чуть ли не обязаны так поступить, если он выкажет по отношению к ним какую-то самостоятельность и нелояльность<sup>1</sup>. В свою очередь, степень свободы Редактора, естественно, отражается на его взаимоотношениях с Автором, в том числе и на предоставляемой им последнему возможности возражать и критиковать.

Вот почему, признаваясь, я не испытывал почти никаких личных чувств к М. М. Колосову, не позволившему мне публично возразить руководящим деятелям СП РСФСР. В качестве служащего он поступил самым обычным и нормальным образом (хотя **сегодня**, конечно, мог бы поступить и иначе). Точно также меня ничуть не удивляло поведение тех редакторов, которые по сходным причинам один за другим отклоняли заметку о том, как добивали Твардовского-редактора. Более того, допускаю, что подобное решение могли принимать люди, в нравственном отношении весьма различные. И те, кто озбочен лишь собственным преуспеянием, и те, кого к сугубой осторожности побуждало нежелание слишком сильно рисковать **делом**, соединяющим в себе усилия и творческие судьбы многих людей. В качестве лиц служебно зависимых — притом не только от своего «официального» непосредственного начальства, но и от закулисно связанных с ним могущественных элитарных групп — они поступили так, как десятилетиями приучал их поступать сложившийся порядок вещей. Тот порядок вещей, в рамках которого печать с течением времени рассматривалась все больше как орган государства, все меньше как орган

<sup>1</sup> В 1939 г. ЦК ВКП(б) специальным постановлением снял со своего поста одного редактора, допустившего на страницах областной газеты полемику с обкомом, а самому обкому указав на недопустимую терпимость к такому факту.

общества, все больше как инструмент руководства массами и все меньше, до минимума, как выражение их собственных мыслей и чувств, неофициального «мира мнений».

В свете всего предыдущего вопрос: а может ли быть иначе? Не чуть-чуть, а существенно иначе и не где-то там, в иные времена и в иных землях, а у нас и при нас?

Тот или иной ответ — прямое производное от возможностей и перспектив демократизации, перестройки.

## ПЛОЩАДЬ ДЛЯ СПОРА

Чтобы демократизация не осталась добрым пожеланием, она должна быть обеспечена организационно. Нужны организационные формы, которые дали бы возможность сделать этот процесс, во-первых, достаточно интенсивным (ибо демократизация по чайной ложечке и «от сих до сих» явно не даст желаемого эффекта и вновь легко может стать фиктивной), во-вторых, самодвижущимся, не зависящим от того, сколько часто и сильно подталкивается он сверху. Это относится и к такому инструменту демократии, как гласность. Необходимо безотлагательно выработать комплекс организационных мер, которые позволили бы превратить ее из щедрого, но случайного подарка судьбы в повсеместную и устойчивую норму.

В этой связи — два практических предложения, общая цель которых — уменьшить отмеченную выше зависимость Автора и Редактора.

1. Нужно сделать так, чтобы каждый гражданин Советского Союза мог при желании печатно оспорить любую публикацию прессы, не испрашивая на то чьего бы то ни было согласия.

Как бы это могло выглядеть? В каждом журнале и газете создается постоянный раздел «Полемика», достаточного фиксированного объема, где с корректурской и минимальной стилистической правкой, но без какой-либо иной редактуры печатаются полемические отклики на любые публикации, появившиеся в этом издании. При наличии таких откликов редакция не может занимать отведенную им площадь никаким

другим материалом. Вместе с тем она не отвечает за содержание данного раздела и следит лишь за тем, чтобы каждый из помещаемых в нем материалов не выходил за рамки установленного объема (скажем, не более трех страниц на машинке) и не заключал в себе чего-либо противозаконного (например, призывов к насилию, личных оскорблений, оскорблений национального или религиозного чувства, непечатных выражений и пр.). Отклики, не отвечающие этим требованиям, попросту возвращаются авторам с мотивировкой отказа в их публикации. Кроме названных причин основанием отказа может быть разве что некомпетентность суждений в областях, требующих определенных знаний, бессодержательность или невнятность отклика, а также совпадение его по содержанию с каким-либо ранее опубликованным. При наличии подобных однотипных откликов редакция может напечатать один из них, сопроводив его полным перечнем остальных корреспондентов, выразивших ту же точку зрения. Разумеется, существование такого раздела не лишает редакцию права печатать (вне его) как положительные отзывы на свои публикации, так и прямую полемику с собственной «Полемикой».

Особый статус названного раздела, его, так сказать, экстерриториальность в журнале или газете можно подкрепить безгонорарностью и, более того, платностью помещаемых в нем публикаций, — примерно на тех же основаниях, как оплачивается подача объявлений.

Два вопроса. Как быть, если в каком-либо журнале или газете приток разнообразных по содержанию полемических откликов окажется устойчиво превышающим возможности предлагаемого раздела? И как распространить это предложение на книги и брошюры? Выходом представляется создание, помимо упомянутых разделов в периодике, специального всесоюзного издания такого же характера и назначения, лучше всего — еженедельника и, возможно, под тем же названием «Полемика». Оно же могло бы печатать материалы различных дискуссий на актуальные общественные темы, регулярные социологические исследования общественного мнения на

основе полемических откликов в печати. При нем может быть создан специальный арбитраж, разбирающий случаи необоснованного, по мнению авторов, отказа в опубликовании тех или иных полемических материалов.

Предложенная мера носит, конечно, частичный характер, но в случае последовательного проведения в жизнь — а что может этому помешать, кроме противодействия тех, кто не заинтересован в гласности, в демократизации? — она могла бы иметь весьма сильный и многосторонний эффект. Печатное слово, на которое любой может тут же печатно возразить, с неизбежностью должно было бы стать гораздо взвешеннее, ответственнее, точнее. Насколько бы это повысило доверие к прессе и, значит, ее эффективность, силу ее воздействия на массы! А главное — человек, который знает, что в случае необходимости он может заявить о своем несогласии и будет услышан, — насколько больше он имеет внутренних оснований для социальной активности и уважения к себе, для того чтобы чувствовать себя (а значит, и быть) человеком, гражданином!

2. Второе предложение — более общего порядка. Смысл его состоит в том, чтобы печать, которая в обозримый исторический период призвана у нас сыграть роль одного из основных двигателей процесса демократизации, — чтобы она сама стала более демократичной, менее официальной.

Сейчас у нас что ни газета, то орган каких-то руководящих — в сфере ее распространения — инстанций, целиком им подчиненный: районная — райкому и райисполкому, областная — обкому и облисполкому, «Медицинская» — Министерству здравоохранения и т. п. Так же обстоит дело и с подавляющим большинством журналов. Но почему, спрашивается, наши журналы и газеты должны почти обязательно носить какой-нибудь ведомственный или местнический мундир? Почему, к примеру, та же «Литературная Россия», редактор которой в описанном выше случае столь красноречиво пренебрег гласностью в пользу субординации, — почему она не просто литературная газета, но «орган

правления Союза писателей РСФСР и Московской писательской организации»? И почему, скажем, «Москва», «Наш современник» или «Октябрь» — органы того же республиканского союза, а «Новый мир» или «Знамя» — СП СССР? В чем смысл этой разницы и почему вообще как те, так и другие являются органами чего-то, а не просто литературными журналами? А с другой стороны, почему у каждого названного союза должно быть по «своей» газете и по нескольким журналам? Разве в них печатаются только или хотя бы в основном члены Союза писателей? Или, по крайней мере, пользуются здесь какими-то узаконенными преимуществами перед «несоюзными» авторами? Нет, таких привилегий, слава богу, не существует. В чем же дело? Как-то не видно тут никакого иного резона, кроме того, чтобы над каждой газетой и почти каждым журналом было какое-то «свое» начальство, которое бы за ними надзидало и не давало им слишком много воли.

Но если это так, то не вреден ли этот порядок, оставшийся нам в наследство от сталинских времен, не противен ли он духу демократизации?

Конечно, нужны и официозы, то есть периодические издания, призванные в наиболее адекватном виде выражать как общую политическую линию партийно-государственного руководства, так и позиции его по тем или иным конкретным вопросам текущей жизни. Такие издания, естественно, должны быть официальными органами представляемых ими государственных или общественных организаций. Но одно дело — существование ограниченного круга подобных изданий («Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «Труд», «Красная звезда», ведущие газеты в союзных республиках, некоторые центральные журналы, например «Коммунист», «Ведомости Верховного Совета СССР» и пр.), и совсем другое дело — та «сплошная официализация» прессы, внешним выражением которой является словечко «орган», почти обязательно следующее за названием сотен и тысяч издающихся у нас газет и журналов. Она не приносит нашему обществу ничего, кроме вреда.

Предвижу вопросы и возражения со стороны тех читателей, для которых сложившийся порядок вещей представляется единственно правильным, единственно возможным. Дескать, как же это так, если, скажем, областная газета перестанет быть органом обкома и облисполкома? Не приведет ли это к ослаблению партийного руководства печатью? И не утратит ли она в таком случае свою роль коллективного пропагандиста, агитатора и организатора, — как обычно формулируются у нас, со ссылкой на Ленина, задачи прессы?

По-моему, совсем напротив: не утратит, а приобретет. В том-то и беда, что чем более официальной, замундированной и зависимой становилась наша пресса, тем менее пригодной оказывалась она к действительному, неформальному выполнению таких задач. Чем больше и дольше она — на этот свой казенный лад — пропагандировала и агитировала, тем больше число людей отталкивала от провозглашаемых ею идеалов — кого в церковь, кого в вещизм, стяжательство и карьеризм, кого в пьянство и наркоманию, а всех вместе в нравственное опустошение и общественную пассивность. Не одна она, конечно, это делала, но и ее вину не следует преуменьшать. И чем больше заявляла она организаторских претензий, то указывая колхозникам, когда им пахать и сеять, то обличая отстающих по удоям молока или по выплавке стали, тем шире разливалась и уже накрывала нас с головой стихия бесхозяйственности, бюрократизированной анархии производства.

Без самостоятельности нет позиции, а без позиции, без собственного взгляда на вещи не может быть ни убедительной пропаганды, ни горячей, увлекающей агитации, ни сколько-нибудь действительного организующего эффекта. В свою очередь, газета или журнал с позицией, с самостоятельно выработанным направлением — они-то и убеждают, и увлекают, и воспитывают, и собирают вокруг себя единомышленников, даже если не прилагают к этому никаких специальных усилий.

Что же касается партийного руководства печатью, то весь вопрос в том, как его понимать. Если пони-

мать его как надзирательство и командование, если рассматривать журналистов в качестве «подручных партии», по выразительному определению Хрущева, то в таком случае нам от системы «органов», от нынешней иерархической подчиненности печати отказываться нельзя. Если же видеть в печати инструмент демократии, одну из основных форм осуществления социалистического самоуправления народа, помогающую самой партии разобрататься в реальных настроениях общества, то успех дела только затруднялся бы административным подчинением газеты или журнала.

Итак, поменьше «органов», побольше просто журналов и газет, разнообразных по своему характеру и направлению, свободных от подчинения ведомствам или местным властям! Вполне разделяю в этом отношении общую мысль читателя «Огонька» (1988, № 2) инженера Ю. М. Карбовского, выраженную им, правда, в несколько робкой и половинчатой форме: «Быть может, следует создать Ассоциацию работников средств массовой информации при Совмине СССР и все органы информации сделать органами этой Ассоциации, выведя их из прямого исключительного подчинения инстанциям на местах». Едва ли правильно было бы пытаться удержаться, хотя бы в таком ослабленном виде, бюрократический принцип официальности и зависимости печати, заменяя у нее над головой одно непосредственное начальство другим, да еще специально для этого созданным. Почему обязательно «орган»? Пример самого «Огонька», одного из, правда, многих наших журналов, не являющихся ничьим органом, говорит о возможности вневедомственной прессы. А между тем разве тот же «Огонек» существует вне сферы партийного руководства и контроля?

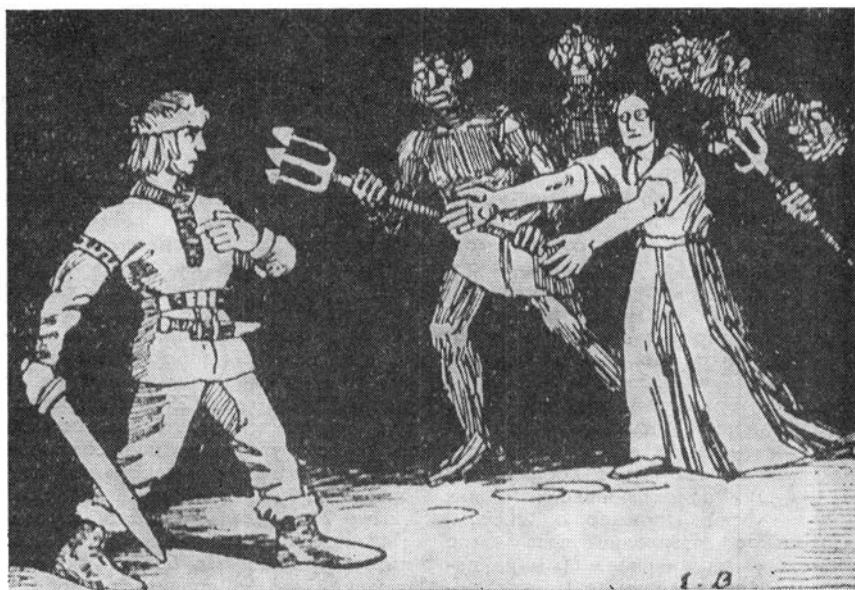
Не потерял ли я под конец свою тему, не уклонился ли от рассмотрения «возможности возразить» и обуславливающих ее обстоятельств? Думаю, нет. Ведь, как уже отмечалось, возможности критики в печати тех или иных явлений и лиц, предоставляемые Автору Редактором, находятся в прямой зависимости от того, насколько он сам свободен и самостоятелен в своих решениях.



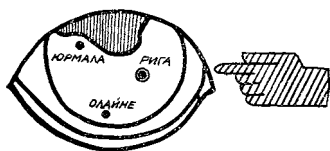
А это, в свою очередь, непосредственно связано с социально-правовым положением печати. Как ни важно иметь в газете или журнале специально выделенный раздел, куда могли бы безо всяких помех выплескиваться непросеянные и непричесанные критические мнения и оценки читателей, все же это была бы только маленькая форточка, постоянно открытая свежему воздуху гласности. А надо распахнуть ему все окно.

Было бы желательно, чтобы в готовящемся Законе о печати, принятие которого — одна из первоочередных современных нужд, поднятые вопросы получили полное, последовательно демократическое разрешение.

Конечно, в каком-то предельном смысле возможность возразить есть всегда. Возражали все наши истинные демократы и революционеры, начиная с Радищева и Герцена. В годы минувшего безвременья возражал Твардовский — и своим журналом, и своей последней поэмой. Возражали своими песнями Окуджава и Высоцкий. Возражал академик А. Д. Сахаров... Но общество внутренне здоровое или по крайней мере жаждущее оздоровления не может допустить, чтобы эта возможность оставалась горькой привилегией самоотверженных одиночек. Она должна быть открыта и обеспечена каждому. Без этого нельзя жить.



Эдуард Бренценс. 1929 год



Борис ГОЛУБЕВ,  
биолог

## СТОЧНАЯ КАНАВА ЮРМАЛЫ

### «САМОЛИКВИДАЦИЯ»!

В стране появилось достаточно примеров, чтобы воспринимать и бедствие Юрмалы как закономерность в политике, проводимой Минлесбумпромом республики.

Деятельность министерства лесных богатств и их потребителей опровергает старую народную мудрость — не ставить козлов сторожами на капусту. Сегодня мы используем только около 20 процентов от срубленных деревьев, — но и это при условии, что срубленное вывозится. А условие не соблюдается. Об этом убедительно говорит существование в Норвегии конторы, вылавливающей у своих берегов наш бывший лес. Общеизвестны примеры с канифолью, которую за рубежом изгоняют из того, что у нас сжигают, и за которую мы платим золотом. Тару, никому потом ненужную тару, на которую мы, случается, отпускаем ценные породы деревьев общим объемом до 45 миллионов кубометров, у нас покупают зарубежные страны, невзирая на ее содержимое! Отдельно следует вспомнить затопление лесов в котлованах гигантских ГЭС. Но при этом мы не только лишаемся деревьев, которые гниют в воде, портят ее качество, морят рыбу, мешают рыболовству и судоходству. Братское водохранилище стало первым печальным примером, — и нормой для министерства, поскольку с тех пор в построенных и будущих водохранилищах (о них много писали, например о Зейском) варварское затопление леса стало запланированным (мы не дадим капиталистам вывезти эти деревья и обогатиться, напоминая ребенка из повести Платонова, унося-

щего с собой собственнично наполненный горшок).

Впрочем, хватит горестных примеров — они у всех на слуху. Представим, что и эти и многие другие факты заложены в беспристрастную ЭВМ, от которой требуется конкретный ответ на конкретный же вопрос: можно ли передавать в такие руки целлюлозно-бумажное производство — потенциальный источник разрушения окружающей среды ядовитыми отходами? И машина, несомненно, ответит — никак нельзя. Сравнение с капиталистами еще в конце 60-х годов в США, например, насобачившимися прогонять одно и то же количество воды десятки и десятки раз, так же как и соображения элементарной логики (но разве они присутствуют в перечисленных примерах?), не указ нашим министерствам.

Может, у нас леса некуда девать? Нет, в центральных областях налицо большие перерубы, которые фактически намеренно организовываются уже заранее. А на окраинах гонят щепки временные леспромхозы, часть которых благообразно даже кладбища в этих местах не открывают, потому как они до сих пор продолжают худшие традиции времен древних кочевников и огненно-го земледелия. Наоборот, в Швеции или Финляндии люди предпочитают жить внутри леса, 25 и 50 процентов срубленной древесины получая от рубок ухода (у нас состояние этих направлений «непрерывно развивается», мы так уже добываем почти 2 процента полезной древесины). Судя по лесохозяйственной литературе на зарубежных языках, в нашей стране возникает и обостряется дефицит качественных лесоматериалов невысокой себестоимо-

сти, леса разрабатываются далеко не оптимально, продуктивность лесов в стране при сходных климатических условиях намного ниже, чем в зарубежных странах. Да и что могут делать наши лесники, если их энерговооруженность на гектаре в 32 раза ниже, чем у лесорубов? И вряд ли мы преуспеем в восстановлении лесов, не имея необходимой техники, используя сравнительно малокачественный материал, создавая экологически ущербные саженые «джунгли» — да и всплывают еще такие факты, что и назвать-то неприятно: если сто лет назад при посадках на Урале умели прижигать 80% саженцев, то теперь, подорвав уральскую тайгу, — 30%.

Зачем мы занимаемся этой дикой «самоликвидацией», примеров которой некуда девать? Ими полон Байкал (где пробы вблизи завода берутся в противогазах, где по всему юго-западу, до глубины 6—10 м, ныне распространилась водяная чума — элодея канадентис), и Ладога, и многое-многое другое. И ведь при этом по производству бумаги мы возглавляем... 5-й десяток стран мира! Мы наплодили заводов, не обеспечивающих необходимую безопасность природы и человека, а когда на их реконструкцию выделяются средства, тратятся они не по-хозяйски — «не в коня корм». Например, значительные средства, направленные Слоскским ЦБЗ на улучшение очистки сточных вод и воздушных выбросов (о чем справедливо сказано в заключении Временной экологической комиссии и что подтверждается изучением ухудшающегося состояния природы) не дали практически никакого результата. Впрочем, это не мешает руководителям Слоскского ЦБЗ публично гордиться действиями, которые иначе как экономической диверсией не назовешь: «Такие большие капвложения для нужд охраны природы возможны только в СССР». «Если нам нужны деньги на природоохранные мероприятия, можем попросить — их выделят. Но нам не нужно. Затраты на природоохранные мероприятия планово заложены».

Думаю, читатель уже понимает, что здесь делается и по линии использования вторсырья, первоисточник которого — та же древесина.

Скорее всего товарищи из министерства также умиляются тем, что только у нас возможно такое широкое пионерское движение за сбор макулатуры, и как оно «планово заложено» и насколько оно полезно для самых широких кругов — от пионеров до пенсионеров. «Истины для» хочу сообщить: мы пришли к тому, что газеты, например, у нас больше вообще не перерабатываются — мы возим их в Италию и ФРГ. В Латвии сегодня собирают 43 тысячи тонн макулатуры, но могли бы и больше, да девать вторсырье некуда: на Слоскский ЦБЗ можно сдать (по ограниченному наряду из Москвы) всего несколько тысяч тонн, да к тому же часть бумаги сначала будет отправлена за пределы республики, чтобы вернуться на Слоскский ЦБЗ через Белоруссию, Клайпеду! Но даже по нарядам из Москвы ЦБЗ принимает 4 (из 12 существующих!) видов бумаги на переработку, из которых по двум в республике не имеется ресурсов, а один все равно отказываются принимать. Но как нелегко сдать на завод и это мизерное количество! Перед машинами вырывают канавы, перед носом шоферов закрывают двери. Ведь три года назад Слоскский ЦБЗ перерабатывал макулатуру... сжигая ее, да и сейчас валяющаяся под открытым небом с незапамятных времен гора бумаги пришла в негодность, не говоря уже о том, что находящаяся рядом с ЦБЗ фабрика «Техинформ» каждый день вывозит на городскую свалку по самосвалу прекрасных бумажных отходов.

### **МОЖНО ЛИ НАДЕЯТЬСЯ НА ОБЪЕКТИВНОСТЬ?**

Погибает Байкал, а руководители завода, с помощью «отраслевой», специально для этого предназначенной «науки», равно как и работники министерства, продолжают врать относительно облагораживающей, удобряющей, очищающей деятельности завода.

Погибает Ладога, и, как рассказала нам «Литературная газета», министра лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности СССР т. Бусыгина везут на вертолете посмотреть на хорошо различимое сверху пятно загрязнения.

Подлетают. Все присутствующие пятно видят — а т. Бусыгин нет. Ниже спустились — он все равно не видит. Совсем зависли над пятном — но т. Бусыгин так и не увидел загрязнения Ладоги.

19 февраля с. г. собирается комиссия Академии наук ЛССР на первое заседание. Даже не получив приглашения, к представителю Слокского ЦБЗ присоединяются генеральный директор Латбумпрома т. Миж-Мишин и специально приехавший из Ленинграда представитель отраслевой науки т. Иванов. Оказывается, в Ладоге ничего плохого не наблюдалось, и даже в самых тяжелых случаях кислород не снижался ниже чем до 70 процентов от нормального 100-процентного содержания (правда, на вопрос членов комиссии: «Так завод на Ладоге был закрыт неправильно?», докладчик почему-то ответил: «Правильно», но продолжал убеждать, что положение там вовсе не было плохим, а у нас оно еще лучше, чем там). Генеральный директор в том же духе заявил, что воды реки Лиелупе недопустимо загрязнены **перед** ЦБЗ и поэтому они не могут их очистить в достаточной мере.

Таким образом, наша ЭВМ и в этом случае заранее бы предупредила, что общаться с руководителями Минбумпрома бесполезно. Удивительно другое — не то, как высказываются руководящие работники относительно Слокского ЦБЗ, а то, что и Юрмальский горисполком, и Минздрав, и Совет Министров нашей республики пишут официальные письма о загрязнении природы, об уничтожении Юрмалы, о необходимости исключения целлюлозного производства, о перепрофилировании либо закрытии всего завода... т. Бусыгину! Впрочем, действительно, не вполне ясно, куда же писать на эту тему, кто в силах помочь. Я лично думаю, что, может быть, в Комитет государственной безопасности. В печати порой встречались упоминания об активной роли империалистов в строительстве Байкальского комбината. И уж если продолжать эту ироническую аналогию, то всем ясно, что если бы ЦРУ хотело подорвать нашу Латвию, самым эффективным оружием была бы именно продолжающаяся деятельность Слок-

ского ЦБЗ. Но если за недавние трагические аварии расплатились руководители ряда служб, то ответственные за бедствия, постигшие Лиелупе и Юрмалу, и поныне остаются на своих постах.

## **ЧТО ЖЕ ПРОИСХОДИТ В ЛИЕЛУПЕ И В ВОДАХ РИЖСКОГО ЗАЛИВА!**

Сотрудник Института биологии АН ЛатвССР В. Юрковская, с 1972 года изучавшая ситуацию в Лиелупе, установила, что от сточных труб завода вниз, к морю, протянулась мертвая зона, где часто полностью отсутствует кислород. Очень плохие значения имеют различные химические показатели, например количество жидких ядовитых лигносульфонатов в 700 раз превышает их содержание в воде, подходящей к заводу; неудовлетворительны показатели биологического и химического потребления кислорода (БПК, ХПК), величины других важных показателей. Гниющее органическое вещество увеличивает численность различных бактерий, с помощью которых, как сегодня хорошо известно, воспроизводят себя различные вирусы, способные вызывать опасные заболевания. Кроме того, в такой воде хорошо сохраняются многие бактерии, попадающие в реку от других источников, включая илудие на очистные сооружения завода городские сточные воды, до сих пор не хлорируемые. Общий уровень бактериального загрязнения, а также относительная численность отдельных групп могут быть весьма высокими — например, известный санитарным врачам коли-индекс может превышать допустимую норму до 1000—10 000 раз. Любопытно, что все купавшиеся в реке ниже ЦБЗ «вылавливают» высыпания, пятна покраснений и другие признаки того, что микробиология — тоже в какой-то степени наука точная. Еще более любопытно, что местные жители сначала признали невозможность стирки белья в этой воде — и лишь через несколько лет спустя, когда река запаршивела еще больше, — невозможность купания. Зато каждое лето можно периодически наблюдать, как из этой воды на берег выбрасываются рыбешки, как ежемесячно река украшена рыбьими трупиками, не говоря о периоде ле-

достава. Регулярные наблюдения свидетельствуют: строительство очистных сооружений 1976 года прошло не только совершенно незамеченным для состояния реки, но наоборот, наблюдается тенденция к расширению «мертвой зоны», загрязнение приобретает глобальный характер.

Эти данные подтверждают контролирующие организации. Ими установлено, что предельно допустимые концентрации самых разных соединений вплоть до устья существенно превышены. Например, содержание фенолов превышает норму в 20 раз. В реке и море присутствуют и различные опасные возбудители тяжелых инфекционных заболеваний. На этом, однако, роль контролеров фактически и закончилась.

Большие количества загрязнителей выливаются в воды залива. Например, в неблагоприятные периоды «ноль кислорода» распространяется до самого устья, что в 30 км ниже ЦБЗ. И несмотря на подписанную нашей страной совместную конвенцию об охране Балтийского моря, влияние «самой грязной реки республики» (так сегодня назвал Лиелупе, реку, где сто с лишним лет назад наши предки разводили лососей, Институт географии АН СССР) ощутимо по химическим и биологическому анализам далеко в водах залива. Правда, данные о том, какая из стран платит теперь максимальные штрафы, у нас являются ужасно секретными, и я ни в коей мере их не намерен сообщать, тем более что вы и так все правильно понимаете.

Уже после первых проб, взятых Институтом биологии в 1964 году, научным сомнениям не было места. Да и без науки все ясно по виду и по запаху. Если кому-то из руководителей любого ранга об этом неизвестно, В. Юрковская согласна взять на себя роль гида. Правда, потребуются резиновые сапоги, без которых здесь, в сердце уникального курорта республиканского и всесоюзного значения, уже не пройти; с самолета действительно это, наверное, не очень заметно.

Пробы не оставляют сомнений, что к ЦБЗ приходится достаточно чистая вода (официально — 2-го класса, умеренно-загрязненная). Но ниже ЦБЗ вода становится крайне загряз-

ненной (официально соответствуя последнему, 5-му классу). Два года назад «мертвая зона», устанавливаемая по состоянию живых организмов на дне реки, простиралась на 4—5 км. Сегодня, как показало наше взятие проб в рамках комиссии АН Латвийской ССР — 6 км.

На Лиелупе выросли новые берега. Они сложены из заводских отходов, смываемых в реку, загрязняющих ее вредными выделениями. Кроме отходов, полученных с нарушением технологии, и поэтому более ядовитых, там же захоронены многие кубометры солей, серы, кускового свинца, удобрений (интересно, откуда на ЦБЗ появилось лишнее удобрение — аммофос, свыше 30 тонн которого вывезено на берег реки и городскую улицу, где расположена эта свалка, шофером Летикиви?).

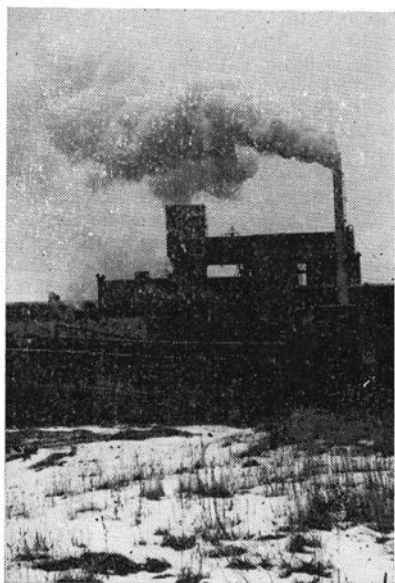
В последние годы загрязнение усилилось. В море, на глубине 10—15 м теперь обнаруживается слой загрязнений!

В реке давно запрещено купаться. Несколько лет назад запрещено плавать на лодках. В прошлом году врачи не рекомендовали отдыхающим входить в воды залива напротив станций Лиелупе и Булдури. Странно, но ведь это относится и к тем, кто имеет в этих местах государственные дачи...

Сейчас мы должны быть готовы к тому, что в случае теплого лета море будет закрыто. Этого едва не случилось в прошлый сезон, и фактически это было положено сделать. Что ж, если признать то, что Юрмала превратилась в канализационный придаток Слокского ЦБЗ, давайте хотя бы следить за исполнением наших законов. Ведь пришло время запретить гражданам пользоваться морем, а вслед за этим — и дышать отравленным воздухом бывшего курорта.

### **МОЖНО ЛИ ДЫШАТЬ ЭТИМ ВОЗДУХОМ, ПИТЬ ЭТУ ВОДУ!**

Юрмала растянулась на 27 км, и Слокский ЦБЗ выбрасывает сегодня 55 процентов всех загрязнений ее воздушного бассейна. В воздухе концентрации таких ядовитых газов, как окиси серы, азота, аммиак, превышают предельно допустимые концентрации до 9 раз. Гибнут сосны,



Клубы дыма из труб ЦБЗ становятся воздухом, которым дышит город-курорт.

Фото автора

и санитарные рубки увеличиваются в объеме — нынче они составляют 5 тыс. стволов в год. И. Магоне, научный сотрудник ИБ АН ЛатвССР, установила, что повреждено до 100% хвои сосен и листьев берез в окрестностях Слоки. Она считает, что через 10 лет произойдет массовая гибель растительности, включая дюнную, на большой территории Слока — Каугури — Вайвари, а затем — и далее.

Руководители Слокского ЦБЗ эту проблему вообще не оценивают (газета «Юрмала» от 24.12.87 г.). Поэтому что проблемы, на их взгляд, вообще не существует: «сейчас мы близки к нормам, предусмотренным для города-курорта» (таких, кстати, нет вообще). Что «если закрыть завод, воды Лиелупе чище не станут», что «наша чистка ликвидирует бактериальное загрязнение. У нас нет бактерий и быть не может», что превышение норм — «это поправимо», что звески, сбрасываемые заводом, — это «корм для рыб», что «все подчинено природоохранительным мероприятиям с учетом того, что мы находимся на курорте». Они считают,

что вообще бороться за охрану природы нужно, но ее загрязняют все, кроме них. Например, в той же Лиелупе «все наши нелегкие достижения» губит Рига, что «сегодня каждый дымящий котел асфальта в городе приносит вреда гораздо больше, чем мы». Правда, в заключение руководители ЦБЗ неожиданно проговариваются: «Это несерьезный подход — обойдемся без бумаги, лишь бы очистить Лиелупе!»

Минбумпром республики направил Юрмальскому горисполкому и Центральному совету Латвийского общества охраны природы и памятников письмо за подписью заместителя министра Межниека (составитель — Фомичев). Министерство не только ратует за продолжение деятельности завода, но настаивает на расширении производства целлюлозы еще на четверть. На двух страницах машинописи имеются 27 грамматических ошибок, 6 — логических, 4 — неверных утверждения по сути, а все цифры, характеризующие степень очистки стоков, занижены примерно на порядок.

К дезинформации и обману нам не привыкать — на том выросли. Ведь нам представили классический сценарий вранья, по которому мы даже ухитрились получить международную премию: за улучшение и чистоты вод Байкала — потому что 4 раза расширяли разрешенные пределы загрязнения, на словах называя это «ужесточением требований охраны природы». Ну, премию за «улучшение» чистоты Лиелупе и вод залива наши руководители сегодня вряд ли получат, но ведь и к ответственности никто не призвал людей, которых местные жители считают преступниками.

Продолжают использоваться льготные нормы. Не смущаясь тем, что экологический кризис Юрмалы грозит завершиться полным крахом, на ЦБЗ действуют (по сравнению с исходным давнишним проектом) две ступени льготности норм!

Кроме того, соответствующим образом подобраны сами показатели ведомственного контроля, единственно по которым и разрешается критиковать очистку стоков — и которые вовсе не отражают их действительную опасность! Если когда-то давно и не было в этом уверенности,

то сегодня в этом нет научных сомнений, тем более что это было прямо показано в конкретных условиях. Из трех узаконенных для этого показателей первый говорит о содержании кислорода. Естественно, после аэрации кислорода всегда присутствует, поэтому этот показатель вообще не беспокоит руководителей ЦБЗ. Правда, потом, под действием содержащихся в стоках органических загрязнений, кислород надолго пропадет. Но это будет потом, в реке, что фактически никого не волнует. Второй показатель — БПК, позволяющий косвенно оценивать количество легкоразлагаемых бактериями органических веществ. Он имеет смысл, если органические загрязнители легкоразлагаемы, — а в стоках ЦБЗ в основном присутствуют трудноразлагаемые соединения. А кроме того, стоки — токсичны, бактерии не могут сразу заняться загрязнителями со съедобными свойствами, и чем больше всякой ядовитой химии дополнительно сбросит завод, тем лучше будет этот показатель. Казалось бы, чего проще — заменить БПК на ХПК, то есть на оценку содержания органики по химическому разрушению. Однако на это никто из Минбумпрома не согласится, так как значения ХПК там крайне плохие. Даже с БПК, несмотря на его малую выразительность в этих условиях, возникают проблемы, которые по распоряжению руководителей Слоского ЦБЗ разрешались, как выяснилось, весьма просто: неблагополучные пробы сначала отстаивали до двух часов, чтобы осели взвеси органической природы, а для определения БПК брали только верхнюю, отстаивающуюся часть, занимая результат в 2—4 раза еще до начала измерения!

Что происходило дальше — до сих пор остается на совести сотрудников лаборатории очистных сооружений. Ибо завод контролирует сам себя, платя штрафы по своим же анализам. До сих пор очистная лаборатория не выведена из-под прямой подчиненности заводу. Наоборот — с 1 января ее перевели на хозрасчет, установив отрицательную связь между величиной записанных в лабораторном журнале цифр загрязнений и величиной заработной платы проводящих эту запись. Не в силах изменить это нововведение и полно-

стью понимая вкладываемый в него социальный смысл, в лаборатории очистных сооружений Слоского ЦБЗ весь ИТР «поизжил» сам себя, и все руководители добровольно перешли в армию безответственных лаборантов.

Однако вернемся к последнему, 3-му показателю. Это — количество взвешенных веществ. Оказывается, что современный химический завод реально контролируем только по... одному, механическому показателю! Взвеси определяются крайне просто. Определения эти — пример того, как глут заводские руководители. Норма — 12 миллиграммов на литр. Льготная норма — 30 миллиграммов. Средние цифры в тетрадах лаборатории — выше 60. В ноябре они достигли 114 мг/л.

Но руководство предприятия дезинформирует население, утверждая, что в «настоящее время по очистке стоков выдерживаются установленные нормативы», не стесняясь называть и вымышленные цифровые значения, которые отличались от реальных почти на порядок.

Но не все у заводских специалистов происходит гладко. Не поэтому ли кроме «специально созданной Минлесбумпромом СССР контрольной службы» с 1 февраля с. г. контроль за соблюдением технологии и нормативов очистки на Слоском ЦБЗ по ведомственной линии проводит и знакомый нам по недавнему письму т. Межنيекс? Правда, я затрудняюсь понять, как он контролирует качество очистки стоков. Трудно поверить, что наконец-то осуществится объективный контроль. Например, такой, какой предписывает методическое руководство Гидрохимического института — регулярное измерение 27 конкретных показателей, если дело идет о ЦБЗ.

## ИСТОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ

Прошлое Красной Слоки связано с борьбой за Советскую власть. В августе 1930 года, в ночную смену рабочие завода тайком вывесили красный флаг, за что были арестованы и осуждены. В устах руководителей ЦБЗ эти воспоминания стали тем аргументом, который, по их мнению, страхует от закрытия ЦБЗ — по политическим мотивам. Но в

августе 1987 года эти параллели напоминали о себе лишь месяцем и рабочими, которые днем, не прчась, вывезли на берег реки, на свалку осадков возле городских домов свыше 30 тонн сухого аммофоса (по какой причине вообще уничтожалось удобрение?) — и никто за это не пострадал. Я не хочу дальше развивать оскорбительное сравнение, которое треплут руководители завода, но думаю, что и Первое мая в то время встречали не так, как в прошлом году, когда с 1 мая под руководством секретаря парторганизации цеха очистных сооружений Мызниковой, начальника цеха Шперлинга, мастера вечерней смены Пономаревой с участием электрика Цериньша вплоть до 23 мая стоки спускались напрямую, грязь из очистных тоже шла в реку, а в пруды набиралась речная вода. И потом, естественно, контролирующая организация зафиксировала большую чистоту воды в очистных сооружениях, нежели в реке. Акция была проведена потому, что пошли разговоры о плохой очистке сточных вод и предлагалось остановить завод и улучшить очистку.

Да, очистку мы улучшаем десятилетиями. На первом году работы Юрковская тоже думала ее улучшать. Но с каждым годом эта уверенность таяла, и давно уже ей все ясно — необходимо закрывать завод. А сегодня на другое уже не осталось времени...

Однако вернемся к нарушениям технологии. Свой рассказ продолжает Инта Никитина, бывшая работница завода, пришедшая на собрание народных контролеров г. Юрмалы 18 февраля 1987 года: «Пока я работала на очистных, думала, что стоки хоть как-то очищаются, а болезни местных жителей бывают по случайным причинам. Но когда поработаешь — волосы встают дыбом, нельзя спать спокойно... Технология не соблюдается всеми возможными способами. А очистные — для показа, они вроде игрушки». Инта работала с лета 1986 до лета 1987 г. оператором вакуум-фильтра в цехе очистных. Она рассказывала, как два раза в неделю, в обход технологии, через цех очистных, неочищенные стоки выкачивались в реку, как в действительности «обезвоживается»

осадок, и о других делах частично «посвященных». «Я пыталась беседовать с людьми, но только здесь видишь такую зависимость: тут работают, например, тридцатилетние мужики только потому, что если будешь молчать, тебя не тронут ни за прогулы, ни за пьянство. И они говорили: мы тебе в этом не подмога». Инту поразило отношение к загрязнению природы. Например, когда пьяный слесарь открыл не ту задвижку, и в реку утекла 70-тонная цистерна аммиака, загубив рыбы на 115 тыс. руб. — знаете, как по телефону распорядилась старший технолог Валентина Павловна? «Скорее, залейте на место аммиака воду, и проверка ничего не обнаружит».

### ЖИЗНЬ В ЗОНЕ

Местные жители живут в состоянии постоянной тревоги. Правда, в любой момент они могут прийти с очередной жалобой на ЦБЗ, и там в любой момент подтвердят эту жалобу, согласятся с ней и... сошлутся на аварию, которая «только вот-вот и произошла».

Обо всем остальном наша объек-



Когда-то эту макулатуру собирали по листикам, по килограммам. Сейчас она гниет десятками тонн в окрестностях ЦБЗ



тивная ЭВМ сказала бы, что, видимо, над жителями проводится специальный эксперимент. В первую очередь над теми 150 семьями и 245 детьми, которые проживают в зоне ЦБЗ радиусом 500 м (санитарно-защитная зона вокруг ЦБЗ должна была иметь радиус 1 км, если рассматривать его как промобъект, а не курорт). Вот что рассказывают эти люди: «Мы здесь живем поколениями свыше 100 лет. ЦБЗ изуродовал и наш край, и нашу жизнь. Мы часто болеем, но чем — не знаем. Врачи молчат, для них мы — как отверженные. А в воздухе носятся разные запахи, разлетается пыль от повсюду наваленного осадка (состоящего из древесных остатков, фекалий, бактерий). Например, поели крыжовника — у всех соседей заболели животы. Дети постоянно мучаются разными инфекциями, аллергиями. Двое из них чуть не утонули в осадках, образовавших целое болото среди города. Харальда спасла случайно проходившая соседка, Виктора вытащил двоюродный брат. Колодцы залиты смывами свалки, спущенными без очистки стоками ЦБЗ. По двору весь год дети ходят в резиновых сапогах. А было, что всей семьей в комнате ходили в калошах. Руки в канаве ополоснешь — появляются покраснения и сыпь: ведь по канаве завод все время спускал грязные стоки. У соседки в реку упала собачка, та за ней с мостка прыгнула в воду — на следующий день на ногах появились высыпания; они теперь прошли, но оставшиеся пятна до сих пор не загорают на солнце». Правда, Нормунд Якобсон, пятиклассник, настроен не так трагично: «Но мы — и я, и Анита, и Раймонд, и Сандра, и Инесса — все равно купаемся, хотя от этого у всех бывают высыпания. Раньше сыпь была только от реки, а теперь — и от пруда неподалеку. У некоторых ребят сыпь не сходит все лето. Но купаться больше нигде, а потом, это же не болезнь, ведь врачи ничего не говорят!» В. Шульц, житель Слоки, рассказал, как они брали воду из залитых колодцев, отвозили в Юрмальскую СЭС и в Ригу. «В Юрмале сказали, что все нормально, а в Риге про ту же воду — что плохо». А возьмите эту свалку напротив — там же, кроме осадка, полученного

с нарушением технологии обезвоживания, и поэтому более ядовитого, машинами высыпали серу, соли, удобрения. Х. Ханзеле рассказал, как туда прятали свинец, в кусках, свыше 3 тонн — его высвободили при замене оборудования для варки целлюлозы и представили в отчетах как природоохранный пример.

Любопытно, как выглядят эти данные в официальном изложении Юрмальской СЭС — письмо подписано главным государственным врачом г. Юрмалы С. Решетняк (исполнитель Киреев): обнаружено всего лишь складирование «обезвоженного» (неужто?) осадка и «других» (каких же?) отходов производства. А директору ЦБЗ комиссия осторожно решила все дело лишь дать предложения «о прекращении вывоза осадков на данную территорию». Но сколько сил пришлось положить жителям, чтобы получить хоть такой ответ! Они обращались в прокуратуру. Та переслала письмо в СЭС. Но санэпидемстанция отреагировала молчанием. И лишь когда все мыслимые сроки вышли, жители дозвонились до С. Решетняк. Однако последняя категорически отказалась дать письменный ответ. После сообщения жителей о том, что они снова обратятся в прокуратуру, главврач бросила трубку, но через несколько дней все же направила это обстоятельное письмо.

В свою очередь директор считает, что жители виноваты сами. Например, на выездной административной комиссии горисполкома т. Мекк решительно осудил жалобщиков: «Ишь, чего выдумали — в реке купаться! Разумеется, что в ней купаться нельзя. Я сам 13 лет не купаюсь, и ничего, здоров. А на вашей свалке мы посеем английскую травку, и у вас сделаем настоящий рай!»

Жители считают, что положение может улучшиться только после закрытия Слокского ЦБЗ. Они оптимисты: 20 лет их непрерывной борьбы ничего не изменили, кроме как доказали, что министрам нет дела до их бед. Женщины спрашивали у автора статьи: «Неужели мы должны желать им и ждать, чтобы лично у них дети рождались уродами — ведь раньше никто не пошевелится! На кого нам надеяться, если даже заливающую нас канаву мы смогли

прочистить только после письма в ЦК КП Латвии? Сейчас ее снова завалило заводскими отходами, и его же стоки нас заливают; мы снова прошли через все организации Юрмалы, и, ничего здесь не добившись, снова написали в ЦК партии. Мы боимся, что уничтожение Юрмалы уже никто не в силах остановить. Страшно про такое даже думать, но, видимо, единственное что нам остается, так это уехать из страны — все остальное мы уже сделали».

Однако не только местные жители живут в отравляемой зоне. Там же трудятся и работники ЦБЗ. Каково приходится им, как врачи следят за их здоровьем?

Председатель народного контроля Слокского ЦБЗ высказала претензию биологам, которые якобы неправильно указывают на погибающие ныне сосны, ибо, как она считает, сосны — растения чрезмерно нежные, чувствительные к окислам серы, а наши люди крепки и хорошо это переносят.

И. Никитина рассказала о том, как в цехе очистных люди пользуются глазами каплями. Сжигаемую в другом цехе серу сбрасывают в стоки, и глаза болят даже у тех, кто находится возле прудов. Еще труднее тем, кто находится в помещении цеха. Инта несколько раз была вынуждена брать больничные у глазного врача Трубиной в Дубултской поликлинике. Та сказала, что у Инты индивидуальная чувствительность. Инта попросила направить ее на комиссию, ибо перед работой на ЦБЗ она проходила подобное обследование и была признана здоровой. Врач отказалась отправить ее на проверку, но посоветовала уходить с завода. А в очередной раз Инте досталось так, что машина «скорой помощи» отвезла ее в Республиканскую клиническую больницу им. П. Страдыня, где зафиксировали ожог глазных оболочек и назначили необходимое лечение. Разумеется, закрывая больничный, врач Трубина не скрыла недовольства тем, что Никитина оказалась в центральной больнице, и больной пришлось оправдаться тем, что у нее не было сил сопротивляться, ей было все равно куда ехать, тем более что отвозила ее терапевт Дубултской же поликлиники. Поясняя эту ситуацию для

того, чтобы объяснить, почему Инта не могла не заявить о болезни глаз от окислов серы на собрании по перестройке в цехе очистных. И знаете что ей ответили из президиума? «Инта, глаза болят не только у тебя, но и у всех нас». И еще: «Инта, не думай, что ты нам Америку открыла, мы еще за десять лет до тебя об этом знали»...

Мне хотелось сделать снимок, как рабочие чистят фильтр, металлическую сетку. Через пару месяцев работы ее отмачивают в кислоте, а затем выбивают прутьями. Тогда на головы надевают целлофановые кульки. Но я понимаю, что нельзя так унижать этих людей...

### **ЧТО НА ЭТУ ТЕМУ ПИШУТ УЧЕНЫЕ, И НУЖНЫ ЛИ ЕЩЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ?**

К чести ученых, во всех официальных справках и заключениях указывается наличие глубокого экологического кризиса, обострившегося в последние годы, указывается на невозможность дальнейшего продолжения деятельности ЦБЗ. Такие заключения вынесли Институт биологии АН ЛССР, Общество охраны природы и памятников ЛатвССР, Институт географии АН СССР, Временная экологическая комиссия. Никакой целесообразности в дальнейших исследованиях очевидного вопроса нет и быть не может — курорт и ЦБЗ несовместимы. Но тревожит другое.

Ученые ясно понимают, какого ответа от них ждут «наверху». И можно ли на них обижаться за то, что они не желают разбивать своими головами стоящую перед ними стену? Ведь чем с большей определенностью комиссии высказываются о необходимости перепрофилирования целлюлозного производства, а затем и о закрытии ЦБЗ — тем с меньшей благосклонностью они сталкиваются в Совмине ЛатвССР. Например, материалы Временной экологической комиссии, которые ЛАТИНФОРМ назвал «исчерпывающе подробным документом», определенно попали в немилость руководства. И только ли один товарищ Лапшин, заместитель председателя этой комиссии (он возглавляет Юрмальский горисполком), которому было поручено информировать общественность

о ее работе, может объяснить, почему вдруг он начал публично открещиваться от тех данных, которые... приводятся в материалах этой же комиссии? Он сделал две поправки к распространившимся в общественном мнении «ужасными цифрам», но, к сожалению, вовсе не далека от истины «ужасная цифра» о 500-кратной загрязненности Лиелупе. Если речь идет о бактериальном загрязнении, в частности коли-индексе, то, во-первых, превышение норм гораздо выше, а во-вторых, оно не связано с единичным «аварийным выбросом в момент перегрузки очистных сооружений». Вторая поправка относится к численности срубленных при строительстве сосен. Председатель горисполкома заявил, что в прошлом году было срублено не 4 тысячи стволов, а только 1100. Но ведь в отчете ИГ АН СССР сказано — около 5 тысяч. То же сказано в отчете ИБ АН ЛатвССР — со ссылкой на лесников приводится цифра около 4500 стволов. И те же 5 тысяч фигурируют в материалах Временной комиссии!

А пока материалы Временной экологической комиссии не принимаются как якобы недоработанные, Совмином проводится новое совещание, само название которого несовместимо с научной точкой зрения, — ибо оно названо «О мерах по дальнейшему развитию Слокского ЦБЗ и снижению загрязнения окружающей среды».

Все известные ученым данные по теме по сути сводятся к трем основным утверждениям, представленным в материалах Временной экологической комиссии: «экологический кризис в природе последние годы углубляется», «значительные средства, выделяемые на охрану атмосферного воздуха, практически не дают отдачи: при затрате в 1985 г. 162,15 тыс. руб. выбросы снижены всего на 0,07 тыс. тонн»; «несмотря на длительный срок и огромные затраты на реконструкцию ЦБЗ, в том числе на усовершенствование очистных сооружений, положение практически не меняется, что еще раз подтверждает невозможность сосуществования ЦБЗ и курорта». Но мы слышим и сообщения, что Лиелупе загрязняется и выше Слокского ЦБЗ. Разумеется, не сообщается, что при под-

ходе к заводу река уже самоочищается, так что, например, на территории ЦБЗ выше сточных труб живут бобры, и что основным загрязнителем реки является ЦБЗ. Но это утверждение дает основание в очередной раз предложить комиссии — на этот раз АН ЛатвССР — не то досмотреть, не то пересмотреть вопрос о загрязнении Юрмалы Слокским ЦБЗ.

Поска на старт не спеша выпускается комиссия — одновременно санкционируются мероприятия, расширяющие и закрепляющие существование завода, включая строительство дрожжевого цеха. Что ж, через несколько лет мы снова увидим, что деньги были выброшены на ветер, если даже не во вред себе. Зато проясняется смысл все новых и новых, давно уже научно бессмысленных экспертиз — они позволяют выиграть время для увековечения присутствия ЦБЗ. В научной среде широко распространена именно такая оценка происходящего. Кто называет такие ситуации игрой, кто — представлением, кто — дипломатией. И очень плохо, что эти представления разлагают своих участников, которым заранее отводятся ограниченные роли. Например, если ты — биолог, тебе положено немного высказаться о том, что загрязнять природу плохо. Но закрывать заводы тебе не положено, на тебя смотрят как на человека, призванного биться лбом об стену, и нарушающего правила — как если бы ты в обществе стал есть руками. Ты сам можешь и не понимать своей роли — но проблема станет хронической, и, подобно тому, как птицы никогда не уничтожат всех вредителей, даже такие честные люди, как Распутин, получают вечную тему вроде Байкала, которую конструктивно решить могут, видимо, лишь изменения экономической политики. Ученые это хорошо понимают и, в основном, в такие дела не лезут. Например, о юрмальской проблеме один известный ученый сказал мне так: «Лиелупе сегодня — это большое и грязное помойное ведро, и нам незачем пачкать об него свое платье». А когда 19 февраля в Юрмале составлялась резолюция прошедшей конференции по экотоксикологии, один из нас предложил внести предложение по вопросу уничто-

жения Юрмалы Слокским ЦБЗ, горячо поддержанное присутствующими участниками конференции. Но другой из нас, занимающий гораздо более высокое административное положение, выбежал из зала, заявив президиуму: «Не надо ничего записывать, не надо смотреть никаких диапозитивов, это наша маленькая республиканская проблема, не надо ее выносить, мы разберемся сами». И как потом я мог объяснить делегации из Литвы, что человек, так поспивший ...руководитель комиссии по изучению этой проблемы! Но, по крайней мере, понять его можно. После первой нашей статьи председателю совета молодых ученых Института биологии последовал звонок с расспросами обо мне — интересовала моя национальность, биография, почему я позволил себе «такое поведение». Правда, многие коллеги приветствовали выступление в защиту Лиелупе и Юрмалы, но соблазновали мне, считая, что из-за этой истории я обязательно лишусь работы.

Да, несмотря на то, что Институт биологии дал официальные отчеты за подписью директора, молодые ученые не желают «влезать» в такую неприятную историю. И это грустно. Например, как считают наш теперешний председатель совета молодых ученых и 11 из 14 специалистов, собравшихся на семинар по экологии и социальным аспектам охраны природы (всем им до 33 лет, когда-то самый революционный возраст), им в это дело как биологам включаться нельзя, за это может попасть. Если ЦБЗ закроют — отлично, но это сделают и без них, а если не сделают, так и они не смогут ничего добиться. Да, они все нас поддерживают. Как частные граждане готовы под этим подписаться. Но только не как биологи, не как специалисты, не так чтобы официально. И это происходит в то время, когда биология переживает всеобщую экологизацию, а в республике уничтожение Юрмалы стало одной из самых горячих экологических проблем! И эти люди — именно те, кто читает лекции по экологизации воспитания, кто обсуждает философские проблемы экологии!

В конце концов, дело не в том — попадет или нет. Надо спасти курорт! И для этого необходимо обра-

титься к самым широким слоям населения. Нужно объяснить им, какая трудная сложилась ситуация. Силы застоя, силы торможения в республике недемократичным, ненаучным путем получили перевес в истории с ЦБЗ. Лозунг наш здесь может быть только один: спасти Юрмалу — закрыть ЦБЗ. Считаю, что именно такой подход отвечает интересам республики и страны: ведь в союзном производстве доля Слокского ЦБЗ по целлюлозе составляет 0,8 процента, по бумаге — 1,7 процента, а второй Юрмалы нет и не будет.

Да и какой толк на самом деле был в расширении целлюлозного производства ЦБЗ, сказать трудно. Например, недавно начальник первого цеха сообщил, что после введения хозрасчета расход сырья, целлюлозы, стал более экономичным: ее при той же отдаче стало тратиться в... 3 раза меньше. Так что, скажите, творилось у вас по крайней мере до января 1988 года, для чего вы тогда уничтожали Юрмалу? Но и при этом, как показали расчеты независимых экономистов по имеющимся в печати данным, о хозрасчете на ЦБЗ говорить нельзя — там идет расчет за наш с вами счет. Ведь в стоимость продукции не включена, как того требовал К. Маркс, стоимость всех потраченных ресурсов природы.

А что будет в Юрмале с питьевой водой? Так же как свалки отходов, отравленная река отравляет грунтовые воды, и они сегодня повсеместно загрязнены. А воды не хватает уже сейчас, и прогнозы свидетельствуют, что через десятилетие это станет острой проблемой. Я понимаю, что о курорте к тому времени говорить не придется. Но хочется спросить, что будут пить работники ЦБЗ! Пример Ладоги показывает, что пресную воду и в Юрмалу вполне можно будет привозить в цистернах. А пример цеха очистных сооружений показывает, что при отсутствии питьевой водопроводной воды иногда можно выпить и технической...

Кстати, совершенно непонятно, в какой стадии находятся сейчас приготовления к закрытию Слокского ЦБЗ? Ведь, несмотря на сложности тех лет, планировалось, что закрытие ЦБЗ должно было осуществиться еще в... 1985 году!

## УБИЙСТВО В ДАЧНОМ ПОСЕЛКЕ

### РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИГОВОРА

Ни суду, ни следствию так и не удалось точно установить, в какой день и час случилась эта трагедия. Известно только, что погожим весенним днем 5 апреля прошлого года хозяйка одной из дач приехала в Гарупе и сразу заподозрила неладное: во многих домиках были выбиты стекла, в дощатом туалете на ее огороде виднелось нечто, возвращенное в незнакомую ткань. Женщине подумалось: вот и тюк с наворованным. Но копаться в чужих вещах не стала, сообщила дежурному по поселку. Тот пошел проверить, тронул тюк, а там труп.

Так стало известно, что в дачном кооперативе «Архитектс» произошло убийство. На место трагедии тут же выехали работники милиции и прокуратуры Рижского района. Розыск возглавил начальник отдела полковник милиции А. Вазнис: преступление тягчайшее, убийца или убийцы на свободе — кто знает, чего от них ждать...

### ПОИСК

О личности убитого ничего не было известно: ни документов, ни записной книжки — решительно ничего, что могло дать толчок для начала расследования. По соседству с участком, где стоял туалет, на кухне, веранде, во всех других дачных помещениях — всюду были следы крови. Поиск на местности тоже не дал результатов: погибший никому

в этом поселке не был знаком, да и ничего подозрительного вокруг не обнаружилось — в окрестных дачах жили солидные, уважаемые люди.

Но вот в поле зрения следствия попала группа подростков — любителей езды на мопедах. Они рассказали: в предполагаемый милицией день и час видели окровавленного паренька — из тех, кого паиньками не назовешь.

И вот тут, когда казалось, что птичка уже в клетке, к группе розыска пришла целая делегация мальчишек: «Напрасно этого парня трогаете, — горячились они, — он хороший. Вам надо бы посмотреть в другом месте, — подсказала делегация. — Ходила тут недавно странная тройца — все в татуировках, пьяные. И вроде бы с ними наш поселковый мальчишка был — Славкой зовут. Один, в наколках, еще сказал тогда о Славке: «Это наш друг. Кто его обидит, будет иметь дело со мной».

С начала розыска шли пока не дни — часы.

Тут же узнали, что по соседству у одного пенсионера летом бывает внук. И его зовут Славой. Быстренько нашли в Риге паренька, приступили к расспросам. Оказалось, что в подозрительной компании действительно видели его, но он, как на грех, ни одного из тройцы не знает — ни имен, ни фамилий, только клички: Джага, Маэстро,

Принц. Появилось что-то конкретное — и розыск разделился на несколько групп.

Еще шли не дни, а часы с начала поисков, когда в служебный кабинет полковника Вазиса привели мать убитого и она стала рассказывать о своем сыне. Уже косяком пошли свидетели. Уже опознали и задержали Принца — Юриса Лауриньша, и он, объявив о своей явке с повинной, рассказал всю эту страшную историю, назвал других участников кровавой расправы.

— Мы пытались обогатить время не только потому, что убийцы гуляли на свободе и это было чревато новыми, не менее страшными преступлениями, — рассказывает Алоиз Владиславович Вазис. — Это само по себе ужасно. Но с профессиональной точки зрения упущенное время — это притупившаяся память возможных свидетелей. Вот почему мы работали день и ночь, не помышляя об отдыхе. Работали много, чуть ли не весь наш отдел милиции и сотрудники прокуратуры.

Замечу, что преступникам на этот раз особенно не повезло. Их, очевидно, все равно обнаружили бы и задержали, но произошло бы это позже, и к чему привело бы промедление, трудно сказать. Но на этот раз на их пути встал опытный сыщик, раскрывший за свою жизнь немало тяжелейших преступлений (полковник пятнадцать лет руководил уголовным розыском республики).

— Стоило только зацепиться за первую ниточку, — продолжает Алоиз Владиславович, — и весь клубок начал разматываться очень быстро: через три дня у Рижского центрального универмага был арестован Маэстро. Правда, немало хлопот доставил нам Джага. Стало известно, где он скрывается. Приехали брать. Там к дому ведет довольно длинная дорога, отходящая от шоссе. Эта дорога кончается у дома. Дальше — лес. Приехали, а там — никого. На двери замок висит. Только потом сообразили, что из дома далеко видно милицейскую машину — это давало возможность одновременно уйти в лес с тыльной стороны хутора. Да и замок висел для маскировки: обитатели дома влезали в окно, а для постороннего получалось, что он пуст.

Выждав некоторое время, дав этому странному хутору успокоиться, наши товарищи обложили его со всех сторон и взяли-таки Джагу. Теперь вся группа была в сборе, под надежной охраной. Можно было продолжать следствие.

## ФАБУЛА

Было установлено, что трагедия разыгралась в середине марта прошлого года. В начале месяца после удачной поправки в квартире проводницы поездов Томсона, из Вентспилса отправилась в возж троица уже не раз судимых бездельников и пьяниц. Это и были Джага, Маэстро и Принц. (Пока будем называть их так, если они сами человеческим именам предпочитают клички.)

Первую ночь провели на рижском вокзале. Вторую — в каком-то подвале. И вот однажды в фойе цирка они познакомилась со Славой — тот так же бесцельно, как и вентспилсская шайка, околачивался возле ярких афиш. Слово за слово, поплакались пареньку: негде, мол, ночевать. Слава сказал, что у его дедушки в Гарупе дача — сейчас она пустует.

Так трое рецидивистов вместе с рижским пареньком оказались на даче пенсионера МВД. А там в подвале огромные бутылки с домашним вином, мясные консервы — не жизнь, а курорт.

Попьянствовали ночь и поехали в Ригу проветриться. Вечером, уже без мальчишки (он увильнул от новой встречи), отправились ночевать и бражничать на «свою» дачу. На перроне разговорились с молодым мужчиной, одетым в новенькую японскую куртку, «фирменные» джинсы и еще во что-то такое же привлекательное. Тот был навеселе и, чуть помывшись, принял приглашение составить компанию. Четвером приехали на ночлег. Затопили печь, стали таскать из подвала выпивку и закуску. Принц с новичком сели играть в «очки».

«Я начал шулерничать, и это раздражало партнера», — скажет потом Принц. Раздражало-то раздражало, однако тот снял с себя проигранную куртку, джинсы, туфли, рубашку... А потом возникла ссора, и вентспилсская троица, как стая взбесив-

шихся волков, набросилась на своего гостя. Били кулаками и ногами, чайником, самоваром, табуретом, садовыми ножницами-секатором. Маэстро устал первым и ушел спать. Оставшиеся продолжили свою кровавую работу. Устал и Джага. Принц последним добывал жертву. Наконец он тоже устал и пошел спать, а совершенно незнакомый ни ему, ни его стае человек еще стонал. Он умер, когда притомившиеся убийцы спали крепким сном.

Утром они бросили его головой вниз в подвал, немного прибралась на даче, поделили между собой его новенькую одежду, надели на себя кто куртку, кто джинсы, а кто туфли, и снова поехали проветриться в Ригу. Там встретили давнего знакомого — Тигра, позвали с собой на дачу допивать пенсионерское вино. Тут и рассказали про убийство. Новый гость охотно помог вытащить труп из подвала, завернуть в украденную на соседней даче простыню и отнести в дощатый туалет. Снова стали пьянствовать, шарить по соседним дачам, стаскивать в одно место награбленное.

И еще раз наступило утро. Опять надо было как-то скоротать время. По рассказу Маэстро, в тот день совесть не подавала никаких сигналов, и они предались интеллектуальным развлечениям: фланировали по городу, поднимались на башню Петра, побывали у своих дальних родственников в зоопарке, зашли в музей...

## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ

### ПРИНЦ

Это кличка Юриса Лауриньша. К моменту преступления ему было 30 лет. Нигде не работал. Не женат. Алкоголик. Наркоман, склонен к токсикомании. Трижды судим.

Вот психологический портрет, сложившийся у полковника Вазниса, который провел в беседах с Лауриньшем много часов: «На первый взгляд благодушный малый, добряк. Из тех, кого называют сорвиголовы, но в то же время, как говорится, придурковатый. Он сначала делает, а потом подумает. Думает не

дальше чем на 2—3 часа вперед. Тюрьма его совершенно не пугает: там он чувствует себя в своей стихии, там свое общество, там он удовлетворяет все истинные, крайне примитивные потребности — еда, одежда, сон, кайф.

Его легко завести — он охотно откликается и на хорошее, и на плохое: «Можешь помочь? Конечно, могу! Можешь горло перерезать? Конечно, могу!» Если бы моральный уровень измерялся какими-то конкретными величинами, его планка осталась бы где-то на уровне трехлетнего ребенка: он не в силах отличить хорошее от плохого. И вот по всему этому он — слепое орудие в чьих-нибудь изощренных руках, исполнитель. Тупой исполнитель.

Из показаний самого Лауриньша: «Мы остались на кухне вдвоем с Джагой. Решили его убить. Били ногами и табуреткой. Он вроде еще дышал. Мы оставили его на кухне и пошли спать — решили, что завтра разберемся. Утром пришли, увидели, что он мертвый...» «Меня еще разозлило то, что я периодически обматывал ему голову махровым полотенцем, чтобы остановить кровь, но он все вскакивал, срывал полотенце, кричал, ругался...»

Это он, исполнительный Лауриньш, оказался самым неутомимым из трех преступников — последним ушел спать. Это он, когда были испробованы все орудия убийства, а жертва еще издавала какие-то звуки, схватил садовые ножницы и давай вонзать их в тело умирающего. Без всяких причин, просто так — из желания причинять страдания, убивать. Это он, Лауриньш, без содрогания надел на себя импортную куртку только что убитого его руками человека, как бы венчая этим вознаграждением свою нелегкую «работу».

### ДЖАГА

Это кличка Геннадия Тетерина. К моменту убийства ему было 27 лет. В заключении окончил 11 классов. Есть у него две дочери — семи и восьми лет, но и Тетерин, и его жена лишены родительских прав. Хронический алкоголик — запои по 3—4 дня, частый клиент медвытрезвителя. Наркоман.

Психопат: дважды после конфликтов с женой резал себе вены и горло. Нигде не работал. Имел две судимости.

Теперь попросим полковника Вазнису изложить психологический портрет Джаги.

«Тетерин — самый отвратительный тип из всех троих. Сам может не убивать, но других организует, заставит. Он — идейный вдохновитель преступления. Злобный, нехороший человек. Сади́ст. От страданий, причиняемых другому, получает удовольствие. Долго еще будет считать самым дурным своим поступком то, что попался.

Вообще-то Тетерин был бы идеальной кандидатурой для работы в фашистском концлагере, потому что полностью отвечает их требованиям. Когда я беседовал с ним, у меня не проходило раздражение, отвращение, какое-то гадливое чувство».

По сути дела, это Тетерин бросил первую искру в еще не зажженный костер, когда никакой еще драки и в помине не было. Он ткнул гостя вилкой в лицо — авось не удержится и начнет первым. Драка нужна была не Лауриньшу, а Тетерину. Драка как прелюдия к ужасной кровавой бане. Уже после выпада вилкой Принц, действительно как тупой исполнитель, ударил жертву трехлитровой банкой по голове. Чтобы подбавить жару в уже разгорающийся костер, Тетерин вслед за Лауриньшем бьет гостя кулаком в лицо, окончательно валит его с ног и тут на поверженное тело с остервенением набрасывается вся стая.

Из показаний Тетерина: «Ночью проснулся, выходил в туалет, через кухню. Видел, что парень лежал на полу головой к плите. Я переступил его тело, пошел в туалет, потом опять переступил и ушел спать». «На следующий день после убийства я надел джинсы погибшего и туфли». «После той ночи мы еще несколько вечеров возвращались на дачу, ночевали там».

Холодно, расчетливо, без каких-либо эмоций. Переступил. Надел. Ночевал рядом с трупом жертвы несколько ночей... Это он, Тетерин, устав бить беззащитного, сказал придурковатому Лауриньшу: «Его надо добить. Ну-ка, покажи, настоящий ли ты парень?» Сказал и пошел

спать. Это он, Тетерин, когда труп никак не удавалось вытащить из подвала, прыгнул в подполье и совершенно спокойно стал связывать руки убитого какой-то тряпкой — чтобы удобнее было тащить.

Прав полковник: чем не кандидатура в палачи, в эсэсовцы?

## МАЭСТРО, ОН ЖЕ АФОНЯ

Эти клички принадлежат Юрию Карикозе. 29 лет. Среднее образование. Семья нет. Его дважды судили в Приморском крае: в 1976 году за хулиганство приговорили к двум годам лишения свободы условно и в 1978 году за грабеж к четырем годам лишения свободы. Алкоголик.

Во время убийства он первым устал и ушел спать, не дождавшись финала. Но до этого и он, Маэстро, успел от души «поработать»: избивал лежащего ногами, потом бил чайником с такой силой, что на нем образовались вмятины. После этого вылил на окровавленную жертву воду из самовара, запустил в лежащего сам самовар и вот только теперь пошел спать.

А вот сокращенное изложение заключения судебно-медицинской экспертизы. Весной 1986 г. лечился в стационаре: попытка самоубийства в состоянии опьянения. Дважды попал в медвытрезвитель. Родился четвертым ребенком. В семье пятеро детей. Трое братьев судимы. Сам Карикоза с шестого класса был на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

## ТИГР

Под этой кличкой на последней стадии преступления к компании присоединился 19-летний Гайдари Кригерс. Как и его сообщники, до ареста нигде не работал. В 1986 году народный суд Талсы за воровство и угон автомобиля приговорил его к трем годам лишения свободы с отсрочкой выполнения приговора на два года. Алкоголик.

Вообще-то Кригерс попал в эту историю явно не «по профилю» — видимо, подвела привычка выпивать на дармовщину. Помните, не так давно в городах водилось довольно много чердачных воров? Кригерс — один из них. Ему бы пристало назы-



ваться не тигром, а крысой, но повезло парню — получил он свою грозную кличку за пятнистые брюки.

Что касается убийства в дачном поселке, то здесь роль Кригера была вспомогательная: он помог вытащить из подвала труп, обернуть его простыней, отнести на соседний участок и бросить в туалет.

...Теперь читатель знаком с каждым участником преступления. Осталось, пожалуй, назвать общую черту, которая объединяет этих разных людей. В целом вся группа представляет из себя умственно ослабевших под воздействием алкоголя и наркотиков подонков общества. Попросту говоря, дегенератов. Чего стоит случай, когда вентспилсская тройка поставила в камеру хранения спортивную сумку с вещами, а потом целый день ошалело слонялась по городу, пытаясь вспомнить номер ячейки. А чем не «глубок» ход мыслей Карикозы: «...Потом пошли по дачам — искали золото, деньги. Думали: может быть, мужья прячут здесь ценности от своих жен?»

## ЖЕРТВА

Увы, но чувства сострадания к жертве этого жесточайшего преступления нет. Есть сочувствие матери, братьям, есть досада, что так нелепо и жестоко оборвалась молодая жизнь. Но жалости, как ни настраивай себя, нет.

Ему было 28 лет. Невелик вроде бы возраст, а жизнь у Валерия Кулинка прошла не менее пестро, чем у его мучителей и убийц. Посудите сами: переменил много мест работы, был судим за кражу, как и четверка уже знакомых нам рецидивистов, рано пристрастился к алкоголю.

Мать: «Заработанные деньги он мне обычно не отдавал, зарплату или аванс, как правило, пропивал. Этого ему хватало на два-три дня. Где он пил, с кем, где в этих случаях ночевал — не знаю».

Добавлю, что все остальное время он сидел у матери на шее — пил, ел, покупал импортные вещи. А мать-то не профессор, не модный композитор — дворничиха.

Брат Франц: «Валерий окончил 22-е ГПТУ судоремонтников. До армии поменял несколько мест работы. После армии поступил на опто-

во-торговую базу — на склад спортивного и культурного инвентаря. Воровал галогенные лампы, электронные часы. В марте 1983 года его осудили на два с половиной года лишения свободы. Наказание отбывал на стройке, но систематически нарушал режим и его взяли под стражу».

И в тот роковой вечер он выпил. Валерий сам подошел к Маэстро на вокзальном перроне и затеял с ним разговор. Поторопился похвастаться, что он тоже ранее судим, стал говорить, что ему негде спать, некуда идти...

В рамках криминалистики есть сравнительно молодое направление виктимология — наука о жертве преступления. Один из ее аспектов гласит: жертва своим поведением нередко сама провоцирует преступление.

Так вот, Валерий своим поведением тоже спровоцировал преступников. И не только в том трагическом случае в середине марта. Над ним словно бы висел какой-то рок, последовательно подталкивающий его к последней черте.

В 1983 году, получив зарплату, Кулинок по своему обыкновению пошел в водочный магазин в Иманте. Там с кем-то выпивал. После пьянки пришел домой с разбитым лицом и раздетый: с него сняли новую куртку и шарф.

Через три года Валерий встретил в ресторане своего старого знакомого Алексея Киселева. Тот предложил: «Поедем ко мне в общежитие в Пурвциемс и там уж по-настоящему врежем». Предложение заманчивое, тем более что с приятелем были две девицы, а тут еще и канун 8 Марта.

Пьянствовали в общежитии истово. Валерий остался ночевать. Утром пошли в какой-то пивбар, потом еще в какой-то ресторан. Там побутилиники под пьяную лавочку похвально уже совершенными квартирными кражами, рассказали, что собираются еще одну квартиру «брать». Потом спохватились, что Валерий может выдать, и решили его «убрать». Затащили в темную подворотню, били насмерть арматурой, полоснули ножом. Затем посчитали, что мертв, и ушли. Вечером — это было 8 марта — «ско-

рая» подобрала Валерия с перерезанным горлом, разбитой головой, раздетого и ограбленного. Только через сутки он пришел в себя. Казалось бы, уже было два случая. Шрамы на шее и у глаза служили постоянным напоминанием о случившемся. Но водка всякий раз оказывалась сильнее памяти о пережитых страданиях.

Наше дело размышлять о случившемся, пытаться извлечь из него урок. Мы можем даже посчитать, что и на жертве лежит моральная вина за случившееся. Но каким бы ни был Валерий, его недостатки, даже его провоцирующие поступки ни на йоту не оправдывают убийц.

Не им судить, не им карать.

### ПРИГОВОР

Зачитывается приговор — итог полумесячного разбирательства всех аспектов преступления, случившегося в дачном поселке. Председательствовала на процессе член Верховного суда республики А. Полякова при народных заседателях М. Ростовской и В. Атрашкевич. Обвинение поддерживал прокурор Рижского района В. Страутс.

Пролистали три десятка страниц приговора, заглянем в конец: кому сколько «дали»?

Убийцей признан только Лауриньш. Его осудили на 15 лет лишения свободы — первые пять в тюрьме, остальные в колонии строгого режима, и к 200 рублям штрафа с конфискацией имущества. Суд учел и ряд сопутствующих преступлений (кражи на дачах, сбыт краденого, мошенничество). Но эти сроки, согласно закону, были «поглощены» главной, 99-й статьей Уголовного кодекса, предусматривающей наказание вплоть до высшей меры. Лауриньшу определено также принудительное лечение от алкоголизма.

Вторым в этой преступной «сцепке» шел Тетерин. Суд посчитал, что он нанес погибшему легкие телесные повреждения, не повлекшие за собой расстройства здоровья. За это по соответствующей статье положено наказывать исправительными работами до полугода или штрафом в 100 рублей.

Вообще Тетерину везло в прошлом году. Уже после убийства в Гарупе, 30 марта, его пьяного без

всякой связи со случившимся в дачном поселке задержали в Старой Риге. В штабе дружины обнаружили у Джаги финку с длиной клинка в 127 миллиметров. Дело было передано старшему следователю Кировского РОВД майору милиции Т. Лединской. Как и положено, срочно были наведены справки о задержанном: дважды судим, находится под административным надзором в Вентспилсе, с 19 до 6 часов утра обязан находиться дома, нигде не работает. Словом, стало ясно, что попался не наивный юнец, решивший пофорсить холодным оружием. Как вы думаете, что делает в таком случае следователь? Берет с Тетерина подписку о невыезде и... отпускает с миром.

Теперь-то уж суд приговорил его за ношение холодного оружия к двум годам лишения свободы. Но этот срок, как и наказание за укрывательство следов убийства, «поглощены» статьей 139, карающей за кражи с проникновением в жилища.

Вот за эти-то кражи Тетерину и определили шесть лет лишения свободы плюс 100 рублей штрафа за то, что его побои не вызвали расстройства здоровья жертвы. Арифметика получилась такая: 100 рублей за человека и шесть лет в колонии строгого режима за банки-склянки на чужих дачах.

Вполне логично, что участие в экзекуции Карикозы квалифицировано слабее, чем Тетерина, — как причинение физической боли. И снова на весах Фемиды 100 рублей за чело-веческую жизнь и шесть лет за укрывательство следов преступления и банки-склянки.

Подвальный вор Кригерс свои четыре года тоже получил за кражи.

...Боюсь испортить песню. Боюсь, как бы мой голос не прозвучал диссонансом все более крепнущему хору, призывающему к смягчению кары за уголовные преступления, к либерализации нашего судопроизводства. Я вовсе не собираюсь отрицать справедливость этих требований, раздумывая со страниц газет и журналов. Я только опасюсь, как бы мы, следуя дурной традиции, не шаркнулись из одной крайности в другую. И свои опасения я основываю на конкретном уголовном деле, с которым мы познакомились.

Что бы мне там ни говорили сторонники смягчения наказаний, я знаю одно: кровавый преступник Тетерин-Джага не когда-то в туманном будущем, а уже в следующей пятилетке будет выпущен на свободу и снова примется грабить, подстрекать к убийству, растлевать души моих и ваших малолетних детей и внуков. Только от одной этой мысли становится страшно.

Впрочем, сказанное вовсе не означает, что я такой уж кровожадный человек. Я тоже за то, чтобы с особой осторожностью рассматривались дела, где хозяйственник нарушил закон не ради корысти, а ради производства, где юная продавщица оступилась первый раз, да и то по наущению матерых воров, где юноша нахулиганил по молодости лет — да мало ли таких случаев, где не следует спешить с тюрьмой, колонией и даже со следственным изолятором.

Но, как говорится, богу — богово, а кесарю — кесарево. Мои коллеги-журналисты применили против правоохранительных органов такой прессинг, так настойчиво требуют смягчения приговоров, что судьям уже не до тонкостей, поиск аргументов в пользу обвиняемого идет чуть ли не по всему фронту. Думается, это поветрие коснулось и уголовного дела Лауриньша и его банды.

Приведу несколько примеров для иллюстрации.

Во время следствия выяснилось, что Карикоза бил лежащего чайником, вылил на него воду из самовара, а затем швырнул в жертву и сам самовар. В приговоре же сформулировано так, что самовар якобы не швыряли, а... опрокинули. Может быть, даже нечаянно? Может быть, даже сказали при этом «пардон!»?

Или вот в приговоре утверждает-ся, что Тетерин, Карикоза и Кригерс «не являлись прямыми очевидцами убийства и им не было известно о том, что убийство потерпевшего Лауриньш совершил с особой жестокостью». И это при той очевидности, что пол, стены, потолок кухни были густо забрызганы кровью и мозговым веществом, что кровь (кто бы мог это сделать?) была разнесена ногами и одеждой по

всем комнатам дачи и что участники преступления (кроме Кригерса) своими руками замывали следы убийства, уничтожали орудия преступления, в том числе изломанный о тело жертвы табурет.

Помните, Тетерин, перед тем как пойти спать, сказал Лауриньшу: «Его надо добить. Покажи, настоящий ли ты парень!» В приговоре сначала исчезает первая часть фразы, затем делается вывод: «...Нет основания считать, что, произнося столь неконкретную фразу, Тетерин предполагал и желал склонить Лауриньша к насилию над потерпевшим».

Любопытна запись в протоколе о том, что Лауриньш на предварительном следствии говорил о коллективном избитии жертвы ногами из страха: дескать, если разделить вину в убийстве на троих, возможно он избежит высшей меры наказания. Любопытно это тем, что опытная судебная коллегия не отвергает такое утверждение, не задается мыслью, что трижды судимый Лауриньш не хуже судей знает: преступление, совершенное в одиночку, наказывается мягче, чем совершенное в группе.

Опытный юрист найдет в приговоре и другие подобные штришки, с помощью которых все мягче и мягче становятся формулировки, смещается последовательность действий преступников, возникает возможность по-иному квалифицировать их поступки. Недостаток места не позволяет остановиться на нюансах, но недоумение высказать все-таки необходимо.

Если уж суду точно известно, кто конкретно нанес смертельный удар, то почему действия Тетерина и Карикозы не квалифицируются по статье 17 как соучастие в убийстве? Помимо того, что они лично наносили удары жертве, одно их присутствие побуждало Лауриньша действовать дерзко, без опасения встретить отпор, парализовало волю жертвы, ее способность к сопротивлению. Но в этом случае, как утверждает комментарий к Уголовному кодексу, «каждый соучастник несет уголовную ответственность за преступление, в совершении которого совместно с другими лицами он виновен. Поэтому действия соучастников ква-

лифицируются по статье, предусматривающей ответственность за преступление, совершенное исполнителем».

Такая квалификация, видимо, не подходила, так как она противоречила линии на либерализацию правосудия.

В результате оказалось, что Тетерин и Карикоза были водворены в изолятор временного содержания и арестованы по совершенно пустячному поводу: один — за нанесение

легких телесных повреждений, другой — за причинение физической боли. За эти правонарушения положены исправительно-трудовые работы и, следовательно, содержание под стражей подозреваемых незаконно, так как кражи и пр. были вскрыты позже, в ходе следствия. По всем канонам судебная коллегия должна была бы вынести частное определение в адрес милиции и прокуратуры Рижского района за незаконное задержание Джаги и Маэстро, но этого сделано не было.



Зигурд Зузе. 1957 год



## К СТОЛЕТИЮ ЭПОСА АНДРЕЯ ПУМПУРА «ЛАЧПЛЕСИС»

Жизнь автора «Лачплесиса» Андрея Пумпура (1841—1902), пожалуй, еще богаче путешествиями и скитаниями, чем у героя его эпоса. Пумпур был землемером, офицером, в его «анкетных данных» значатся поездки в Сербию, Китай, на Цейлон и т. д.

Эта «непривязанность», возможно, спасла его от утопания в декоративно-сером потоке литературного процесса восьмидесятих годов прошлого века, который захлестнул не только Латвию. Уже в 1880 году вышел в свет эпос Екаба Лаутенбаха «Невеста ужа», ярко отмеченный отсутствием каких-либо значительных идей и, прежде всего, поэтического дара. А ведь Е. Лаутенбах был преподавателем Тартуского университета, ученым, эрудитом — явно не равня какому-то дилетанту Пумпуру. Но именно «Лачплесис» Пумпура в современном обыденном сознании народа воспринимается как подлинно народный эпос и даже как миф.

Детские годы Андрея Пумпура протекали в той фольклорной и географической среде, которая во многих чертах запечатлелась на страницах будущего героического эпоса. Современный же читатель может убедиться в поистине сказочном преображении тех некогда легендарных мест: государственной мудростью гидрологов Даугава (как, впрочем, и Волга) превратилась в возведение «замков света» — гидроэлектростанций — в вереницу озер, во многом

став просто таким же поэтическим гидронимом, как Лета или Стикс. Уже действительно ныне мифичен Стабурагс, похороненный в недрах водохранилища.

Путник на берегах Даугавы теперь



Карлис Зале. Горельеф памятника Свободы. 1935 год

может элегически читать наставления Видвуда, т. н. культурного героя эпоса Пумпура:

«Разум народа — божественный разум. Он вправе  
 Выбрать вождей и назначить своих государей.  
 Если избранники воле народа не служат,  
 Ради пресыщенной знати целый народ притесняют,  
 То у такого народа есть право святое  
 Скинуть правителей этих, как слуг недостойных,  
 Тут для поборников правды и воли народной  
 Срок огласить повсеместно закон справедливый,  
 Что охраняет и жизнь, и жилье человека  
 И продиктован добром, неизменным от века.  
 Зло тогда в мире иссякнет, и люди научатся слушать,  
 От суеты отойдя, сосредоточась на главном,  
 Праведный голос природы, законы природы признают, —  
 И она им в награду все свои тайны откроет.  
 Те, кто особо отмечен возвышенным духом,  
 Станут весь мир осмыслять, изучать шаг за шагом,  
 И прозревать, что готовит мать-природа в грядущем,  
 И над седыми веками приоткрывать завесы,  
 Чтобы, на прошлом участь, общим и личным участием  
 Привести человечество к гармоничному счастью».

(Перевод Л. Копыловой)



Страница японского издания эпоса с портретом автора. 1954 год

Да, в речах легендарного духовного руководителя древних пруссов VI века н. э. звучит, увы, почти гнетная злободневность.

Героический эпос — это жанр детства национальных литератур. Ранее у эстонцев уже появился «Калеви-

поэг». Однако Пумпур не заимствует и не ворует мотивы у ближайшего соседа латышей. Взгляд его обращен главным образом на Восток. Тогда считалось, что латыши — выходцы из Индии и там якобы даже есть местности, где говорят почти что по-латышски.

Также Олимп богов «Лачплесиса» разноплеменный: здесь и боги древних пруссов, и литовцев, и просто порожденные вольной поэтической фантазией или ошибками исследователей псевдомифологические персонажи.

Подобное произведение могло быть создано только на гребне национального подъема: действие эпоса происходит в XIII веке, в эпоху борьбы с немецкими завоеваниями под предлогом христианизации Балтии. Поэтому 800-летие крещения Латвии прошло без шумных мероприятий. (Несколько иное дело 1000-летие крещения Руси: татаро-монголы, будучи язычниками, не пытались посягнуть на христианство, являясь в этом отношении весьма демократичными и позже, когда они приняли ислам.)

Борьба с самоchinной гегемонией немцев в культуре и хозяйстве оставалась актуальной и в годы сочинения «Лачплесиса».

Пумпур был землемером, но он мерил не только землю, но и глубин-

ные слои человеческих душ (душа в ту пору была, как известно, вполне казенным термином, ныне же она переместилась в более горные области). Его романтические переживания окрашивают особым, порой и сентиментальным, лиризмом некоторые страницы эпоса.

Стройматериалами для «Лачплесиса» послужили народные предания, дайны, сказания, сказки, литературное творчество предшественников и современников Пумпура. Разумеется, и мифология других народов. Но Пумпур не книжник, он свои — вероятно, отрывочные — познания в этой области поэтической фантазией, с полной внутренней свободой, без тормозящего пиетета слил в новую, художественную достоверность. Поэтому «Лачплесис» и воспринимается читателем не как конгломе-



Эмилс Мелдернс. 1936 год

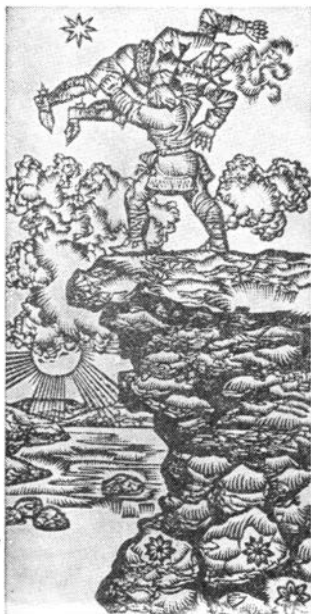


Обложка чешского издания эпоса (название «Битва над пропастью») в переводе Радегаста Паролека. 1987 год

рат использованного поэтом «сырья», а как органическое, почти фольклорное произведение.

Происхождение героя эпоса по нынешним, да и по тогдашним меркам несколько пикантно: он сын отшельника и медведицы. Подобные сюжеты были довольно распространены в латышском фольклоре. Обычно сын убивает своего родителя-медведя, Пумпур же избирает более гуманный путь: Лачплесис раздирает, так сказать, неродного зверя. Однако сила героя таится именно в его медвежьих ушах, о чем немцам в свое время наступит предатель Кангар, таким образом Черный (или — в подлиннике — Темный) рыцарь сумеет наконец одолеть героя.

Латышскому фольклору чужд немолчаливый античный Рок, однако уже в начале эпоса мы узнаем о неотвратимых бедах, которые постигнут Латвию. Также в образе ведьмы Спидалы красота и добро разобщены: в фольклоре эти качества слиты воедино (ср. у русских «прекрасное» как объединение этих начал). И о христианстве собрание языческих богов отзывается в общем почитатель-



Дайнис Рожкалнс. 1983 год

но. Это знаки уже нового времени, времени написания «Лачплесиса».

В сказках герой выходит победителем, в героическом эпосе он, как правило, гибнет. Для латышского склада ума гибель Лачплесиса приэмема с трудом. Но гибель эта как бы не окончательна — на протяжении столетий борьба героя с Черным рыцарем продолжается, что, конечно же, у Пумпура приобретает символическое значение: Лачплесис (читай: латышский народ) в конце концов одолеет своих поработителей.

Период героических эпосов в латышской литературе прошел. Но образы «Лачплесиса» получили продолжение и развитие в творчестве следующих поколений латышских писателей. Если многие персонажи «Лачплесиса» аллегоричны (например, Кангар — олицетворение предательства), то в пьесе Я. Райниса «Огонь и ночь» они уже приобретают символический характер.

Показательно, что Райнис за основу своих драматургических произведений брал сюжеты, уже известные в мировой литературе или фольклоре, так что для него «Лачплесис» Пумпура обладал, так ска-

зать, «вечными» качествами. Образы эпоса служат у Райниса уже раскрытию сложной диалектики духа. Черный рыцарь переосмысливается в духе революции 1905 года — он уже родом не немец, а воплощает слепое самодержавие. В своих драматических поэмах, продолжая райнисовскую традицию романтической драмы (или драмы идей), современная латышская поэтесса Мара Залите совместно с композитором Зигмаром Лиепиньшем недавно закончила работу над рок-оперой «Лачплесис». Думается, что это произведение обречено на успех.

Лачплесис, синтезированный из фольклорных мотивов дерзким воображением Пумпура, ныне «усыновлен» самим фольклором. В нашем веке облик героя тиражируется на памятных, наградных и прочих знаках. И неизбежно, как и все великое, образ Лачплесиса стал излюбленным предметом ширпотреба.

Но какова внешность персонажей эпоса, среда, быт? Еще Ю. Тынянов справедливо отметил, что литературные описания внешности героев произведений отнюдь не приводят к адекватному зрительному восприятию их образов. Так или иначе, художник, иллюстрирующий какое-либо произведение словесности, хочешь не



Андрей Гончаров. 1950 год



хочешь является одним из самых вдумчивых читателей этого произведения. Но, как известно, любой литературный текст не представляет собой нечто окаменевшее на века — каждое новое поколение читателей «видит» в нем нечто иное, проявляя подчас поразительную слепоту к актуальным прежде аспектам произведения. Например, большое число читателей полагает, что и в «Огне и ночи» Райниса Черный рыцарь конечно же немец. Хотя оба эти произведения изучаются в школе без каких-либо купюр.

Итак, как видели героев «Лачплесиса» художники разных десятилетий нашего века?

Эдуард Бренцен (1885—1929) прославился своими иллюстрациями к классическому латышскому роману братьев Каудзите «Времена землемеров». Он досконально исследовал типы крестьян, был в своих многочисленных зарисовках. Такой реально-психологический склад творческой индивидуальности художника отразился и на его трактовке эпоса Пум-



Дайнис Рожкалнс. 1983 год



Янис Саунумс. Из комплекта открыток. 1933 год

пура. У Бренцена это скорее персонажи латышских сказок, нежели герои эпоса. Их архаизм — сказочный, без подлинного эпического дыхания.

Лачплесис раздирает медведя вполне профессионально, с крестьянской основательностью. Спидала уже отнюдь не блещет красотой, а напоминает стандартную ведьму из латышских сказок. Да и Лачплесис — простой крестьянский парень, а не человек с весьма неординарной родословной.

Крупнейший латышский скульптор Эмиль Мелдерис (1889—1979) в своих иллюстрациях тридцатых годов идет другим путем. В его произведениях явлена подлинная, а не декоративная арханка, они насыщены тревожной психологичностью. Композиция скульптурно выверена, Лачплесис воспринимается уже безусловно как мифологический герой. Спидала — чарующая ведьма, скульппо обозначенный пейзаж предельно эмоционален. Здесь нет и следа псевдонародной стилизации, равно как и



Зигурд Зузе. 1957 год

пряной древности в стиле модерн.

По-своему убедительно решение и Гирта Вилкса (1909—1979), сценографа и художника-монументалиста. Значительный театральный опыт, понски большого стиля определили огромную популярность именно его иллюстраций к «Лачплесису». Здесь найдено поистине эпическое дыхание, динамичные «мизансцены», начисто лишённые фальшивой театральности. Единоборство Лачплесиса с Черным рыцарем насыщено беспощадным героизмом скандинавских саг. Ибо время диктует свое — пройден опыт второй мировой войны. Надвечность Э. Мелдернса сменилась пафосом борьбы с «историческим врагом» (как некогда говорилось) латышского народа — немецкими завоевателями. Одновременно латышская древность предстает перед нами во всем блеске утраченного (якобы существовавшего) «золотого века» до вторжения крестоносцев — существенный мотив эпоса Пумпура. Недаром иллюстрация Г. Вилкса вошла в перевод эпоса на японский язык (выдержавший уже более десяти изданий).

У некоторых современных латышских художников напряженный пафос «Лачплесиса» заметно снижается. Взгляд становится несколько отстраненным. Эпос — уже литературный памятник. Д. Рожкалис создает довольно изощренные графические арабески, однако даже в самых драматичных эпизодах сквозит некая умиротворенность, которую, если хотите, можно воспринять как предвидение сбывшегося (для художника) светлого будущего.

У З. Зузе подход моралиста — подобно Ламброзо, он по внешнему виду отличает героя от негодяя. Впрочем, эстетика «Лачплесиса» и построена на таких оппозициях. Но это не означает, что иллюстрации должны быть иллюстративны (простите мне эту игру слов).

Несколько приземленны, при всей монументальности отдельных сцен, гравюры замечательного русского советского графика А. Гончарова. Просторы, где происходят действия эпоса, скорее былинного масштаба, ландшафт Латвии гораздо скромней. Эпос диктует свои законы — бытовизм ему противопоставлен, быт не передается через просто быт.

Помнится, когда я работал редактором на Рижской киностудии, к нам самотеком поступил сценарий по мотивам «Лачплесиса». Там была примерно такая сцена:

«Лачплесис ныряет в озеро Буртниеку. Выныривает. Снова ныряет.

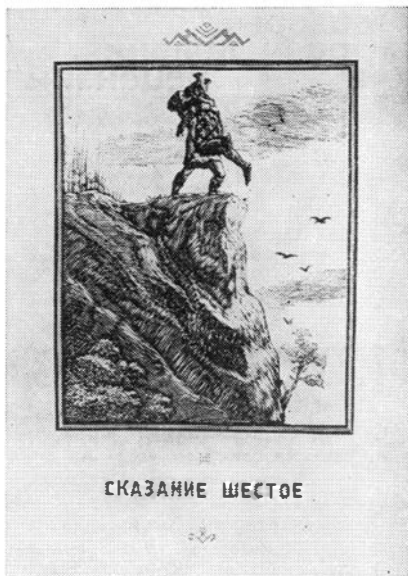
Лаймдота стоит на берегу.

ЛАЙМДОТА. Что ты там ищешь?

ЛАЧПЛЕСИС (выплывая в воду орсли). Замок Буртниека. Где-то он здесь должен быть».

Может, это и трагикомично, но сознание современного человека настолько напичкано новоявленными мифами, которые воспринимаются как доподлинная реальность, что и древние предания воспринимаются как вполне «реалистические» истории. Иными словами — «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». И наоборот.

Ну что же, еще через столетие может оказаться, что А. Пумпур написал совсем иной героический эпос, чем он нам представляется ныне.



Андрей Гончаров. 1950 год

---

#### ПОПРАВКА

В № 4 журнала «Даугава» (1988 г.) конец первого абзаца статьи Юрия Цивьяна «Исторический фильм и динамика власти: Троцкий и Сталин в советском кино» следует читать: «...параллакс, на который должен делать поправку любой историк, особенно же тот, кто берет на себя задачу текстуального анализа фильмов от «Мистера Беста» до «Октября». Редакция приносит извинения читателям за допущенную ошибку».

---

## ОТСТУПЛЕНИЕ В ЖИЗНЬ

Одной из характерных черт прозы Алберта Бэлса является ее спонтанная афористичность. Интеллектуальная активность неотрывна у него от жизни эмоциональной, связана с расторможенностью его художественной психики. Концентрированные броские умозаключения — о сущности человеческих отношений, об исторической жизни народа, о смысле нашего личного бытия, о соотношенности в нем духовного и природного начал — играют в этой прозе роль, так сказать, самоограничительных устройств, служат принципам ее культурной саморегуляции. В разнообразной и самоценной картине мира его радужный или тусклый спектр художником должен быть обозначен — чаще всего через выделение в нем морального действия, морального суждения. Ведь с философской точки зрения и сама истина не существует вне утверждающего высказывания, возникшего из процесса познания. Вот почему изображенная жизнь как бы роится у Бэлса вокруг островков сгущенного смысла, сама напращиваясь на афористическую, а порой и откровенно назидательную оценку. Она нащупывает кратчайший путь к правде, как, например, в финале романа «Полигон»:

«И вот уже снег припорошил солдатские погоны, ушанки, и никто не заметил, что на правом фланге рядом со знаменем встал еще один солдат, его шинель в грязи, в нескольких местах прострелена, запятнана кровью, солдат февраля тысяча девятьсот сорок пятого года стоял на правом фланге рядом со знаменем, и падал мохнатый снег,

так не забудем, что двадцать миллионов взирают на нас, товарищи воины, не забудем об этом!»

Из того же «Полигона» стоит взять еще и другое, связанное с процитированным, высокое обобщение писателя: «Всегда найдется тот, кому известна правда».

В этой максиме заключена и мера оптимизма, и мера его собственной ответственности за произнесенное слово. Творец — это человек, которому «известна правда», он — неузнанный или незримый ее свидетель и вестник. Так в первом опубликованном романе Бэлса «Следователь» его герою скульптору Юрису Ригеру единственному ведомо тайна рассказанной истории об уничтожении его работ. Но, не дай бог, художник известную ему правду обойдет или опустит в своем творении. «Всегда найдется тот», кто сорвет с него самые пышные покровы и обнаружит ложь или равную лжи пустоту. И в первую очередь ему грозят даже не внешние разоблачения, ему грозит его совесть. Для Ригера она персонафицируется в образе Следователя. По внутреннему нелицеприятному счету работы скульптора и на самом деле показались ему прахом. В трагическом контексте жизни от них повеяло небытием.

Но Бэлс все-таки не фаталист. Его можно было бы назвать даже оптимистом, если бы это слово не имело в наше время какого-то холодного площадного оттенка. Мысленное уничтожение в романе «Следователь» его героем всего им созданного ока-

залось актом очищающим, своего рода катарсисом. По Бэлсу, человеку, чтобы разрушить себя до основания, тоже нужно немало потрудиться. Это так же непросто, как непросто сделать себя личностью. Человек, если и не создан по образу и подобию божьему, то все-таки крепок в своей природной основе. Для того чтобы спастись, ему нужно заняться сейчас ничем иным, как преобразованием своего сознания.

Наблюдаемое в последней трети нашего столетия повсеместное раскрепощение чувств не должно вести к разжижению мозгов — вот боевой постулат, которым одушевлено творчество Бэлса, внимательного ко всему природному, стихийному, но не соблазненного все же идеей «растительного существования».

«Презрев оковы просвещения», человеческий взор в который уже раз обращается в сторону полей и дубрав, не замечая того, что население преимущественно жаждет соответствующего городским стандартам комфорта. «Техника двадцатого века, — пишет Бэлс в недавнем романе «Корни», — быстро доставляет человека на природу, в то же время безнадежно отдаляя человека от природы». Мы, так сказать, убеждаемся в том, что самая роскошная из наших игрушек пока цела и, побаловавшись ею, возвращаемся лепить свое бетонное гнездышко, чтобы потом дремать в нем перед телевизором.

Издана привитая нам концепция «покорения природы», самонадеянная уверенность, что наша зависимость от нее с течением времени уменьшается, а наша власть над ней, напротив, увеличивается, развили в человеке взгляд на природу вполне варварский.

Силою вещей это варварство обобщается хищничеством. Хищничество это потому и распространено столь широко и повсеместно, что имеет солидное философское обоснование. С ним и нужно бороться раньше всего, как это делает Бэлс в романе «Корни». Убийство главного героя, во всех отношениях безукоризненного человека, лесничего Яниса Лиеспарга, стало в нем возможным потому, что стрелявший в него Юрис Леинь, он же Букубенде, даже и помыслить был не в состоянии, что можно из-за «какой-то» косули рис-

ковать жизнью. И понятия эти браконьеру — надо прямо сказать — внушены не кем-то, а обществом. Причем впитал он их бессознательно, а значит, прочно. Поэтому главный вопрос в романе, на который Букубенде, Потрошитель косуль, не может ответить даже самому себе, это вопрос «Почему он не остановился?». То есть почему Лиеспарг не остановился, когда увидел в упор на него поднятое ружье Леиня? Чтобы ответить на этот вопрос, и написан весь роман, утверждающий концепцию нового экологического мышления.

Сейчас уже дело не в том, чтобы на лоне природы врачевать, как в былые романтические времена, наши душевные и духовные травмы. В первую очередь надо понять, что в спасении нуждается не отдельный утомленный цивилизацией индивидуум, в спасении нуждается сама природа — от нас с вами.

Логически точное определение природы как окружающего нас нетронутого человеком мира теперь уже почти лишено какого-нибудь реального основания. Современный Алеко не найдет ни вольной цыганской жизни, ни просто уголка, куда не ступала бы свинцовая пята цивилизации. Так что в романе «Корни» Бэлсу приходится ставить и решать вопрос по внешней форме едва ли не схоластический: можно ли разтронутое сделать нетронутым? На примере деятельности Лиелверского лесничества он доказывает, что это возможно. Герои Бэлса черпают духовные силы в том, чтобы помочь природе воспроизвести саму себя.

Рассматривая предлежащий мир и человека в нем, Бэлс стремится различить новые положительные аспекты существования, раскрыть неисчерпанные и неисчерпаемые внутренние ресурсы личности. Его проза нащупывает узлы сплетения духовных и природных сил в самой человеческой душе. Мне кажется, с наибольшей изобразительной силой об этом поведано в романе «Клетка». Герой произведения архитектор Эдмунд Берз, оказавшись заточенным в стальную клетку на дне глухого оврага, нашел в себе возможность слить оба, обычно трактующихся в оппозиции друг к другу, начала.

Только благодаря этому он и выстоял.

Историческая жизнь вообще и изображенная в книгах Бэлса в частности может протекать и под знаком реакции, и под знаком застоя, но благодаря духовному усилению каждая отдельная личность открывает общий для всех путь и к преодолению реакции, и к преодолению застоя. Герои Бэлса оказываются непобежденными и в первой исторической ситуации — об этом написан роман «Голос зовущего» — и во второй, о чем свидетельствует ярче всего роман «Корни».

Роман «Голос зовущего» написан о реальном человеке, руководителе одной из латышских боевых дружин Янисе Лутере-Бобисе. В произведении он, явившись в облики «торговца Карлсона», попадает в руки палачей. Но и пройдя через пытки, он побеждает, утверждая превосходство мужества над силой. Он выставляет против целой — и весьма изощренной — системы, стремящейся нивелировать его личность или уничтожить ее. Только духовный порыв заставляет героя идти на последнюю жертву, о которой блестяще написал Ян Райнис в «Единственной звезде»:

Знай: самая высокая идея  
Сияет, человека не жалея.  
Тот, кто ее огнями озарен,  
Не спрашивает, цел ли  
будет он.

Лиепсарг из «Корней» не уцелел. Но то, что он остался непобежденным, ни у кого, в том числе и у его убийцы, не оставляет никаких сомнений. «Высокая идея» простого лесничего в 1979 году, когда происходит действие романа, для большинства людей была не по плечу. Об экологическом кризисе тогда говорили весьма отстраненно по отношению к нашей действительности, а об экологическом мышлении имели представление едва ли не единицы. Понадобился катаклизм, Чернобыль, чтобы на экологической основе начало вызревать новое мироощущение. Если наш ум будет преобразоваться в этом направлении, то он получит возвышенный, по сравнению с предшествующими веками, характер. Так что «высокая идея» Лиеп-

сарга делает его, пожалуй, идеальным героем. Его трагедия, как всегда бывает с настоящей трагедией, открывает в жизни новые положительные смыслы.

Что ж, может быть и вправду живут на земле идеальные люди, положительные герои, и «не стоит село без праведника»... Появляются они там, где тяжелее всего, в эпицентре бедствий... Только праведники, как это показывает роман «Корни», все больше нужны теперь не селу, а окружающему его пейзажу. Точнее говоря, без пейзажа этого никакое село не устоит, никакой латышский хутор.

Глобальная экологическая тема прямо смыкается у Бэлса с локальной национальной проблематикой. «Все мы едем в одном поезде, — говорит он в «Корнях». — Тот поезд зовется БИОГЕОЦЕНОЗОМ!». И если «климатические условия образуют настил пола» этого поезда, то в прибалтийской зоне издревле настил был лесной.

«Латыши жили в лесах» — эта фраза рефреном проходит через «Корни». Мир в целом видится и воссоздается Бэлсом через магический национальный кристалл. В несколько возвышенном тоне можно сказать, что борьба писателя за лес — это борьба за жизнь на всей планете Земли...

Разумеется, я не хочу изобразить здесь автора «Корней» «пророком в своем отечестве». Бэлс пишет всегда в духе времени, творчески аккумуляруя его зарождающиеся веяния. Так что даже и сверхсерьезную экологическую философию, разработкой которой писатель столь плодотворно увлекся, не будем представлять изначальной авторской монотемой. Еще сравнительно недавно прозаику, как и большинству людей, казалось, что ничего нет страшней и безысходней ядерной войны. В «Полигоне» самыми характерными приметами XX века называются атомная энергия и спорт. «Стадионы» или «полигоны» — такова современная альтернатива для персонажей этого романа. А в ранней вещи писателя «Бессонница» финальная сцена произведения столь же эффектна, сколь и невозможна была бы в поздних «Корнях»: «Перед тем как сесть в машину и уехать обратно, я зажигаю

прошлогодную траву во всех четырех углах замкового двора. Высушенная солнцем трава мгновенно вспыхивает, и вот уже весь двор полыхает, киша огненными змеями, и мы уезжаем, оставив покров огня на этом месте борьбы, крови, позора и рабства».

Если бы после этого романа, недавно напечатанного в «Даугаве», и не стояла дата — 1967 год, мы бы по одной этой бездумно ради пущей красоты сожженной траве заметили, что «Бессонница» писалась на заре туманной литературной юности автора...

Только сейчас мы начинаем серьезно задумываться над тем, что если ядерную войну есть реальная надежда в конце концов предотвратить, то общечеловеческую агрессию по отношению к миру природы остановить, пожалуй, неизмеримо сложнее.

Но «приходит время, и человек все узнает», говорит Бэлс.

Это он понимал уже и в 1967 году.

Есть связь между тем, что человек в прозе Бэлса всегда живет «здесь и сейчас», и тем, что настоящего времени автор отпускает своим персонажам неизменно мало, время это строго хронометрирует, исчисляет по календарю, выверяет по часам и минутам. Основной изобразительный символ «Бессонницы» — это движение вытанутой, «похожей на Дон Кихота», минутной и толстой, «похожей на Санчо Панса», часовых стрелок.

Личное, если угодно — экзистенциальное, время значительно у Бэлса лишь постольку, поскольку оно превращает человека в существо нравственное и социальное. В каждом мгновении таится напоминание об исторической протяженности жизни, о причастности личности к мировому процессу.

«В одном мгновенье видеть вечность и небо в чашечке цветка» — эту тайну искусства Бэлс уловил и усвоил с первых литературных шагов.

«Мгновение» Бэлса — всегда конкретное мгновение испытания личности «давлением времени». В его прозе ставится и рассматривается вопрос, способен ли человек на встречное движение, по силам ли ему одному участвовать в историческом процессе или он от этой ответственной роли склонен уклоняться?

В «Следователе», помеченном тем же, что и «Бессонница», 1967 годом, писатель об этой критической и кризисной ситуации размышляет следующим образом: «Родись в свое время! Если люди не научатся перedefеливать время, они ничему не научатся. Где точка опоры, где рычаг, перевернувший мир? До известного предела человека делает время, потом люди начинают делать время. Справедливости ради отметим: не всегда это им удается».

Те персонажи Бэлса, которых «сделало время», не подозревая этого быстро оказываются в долгу и у времени, и у самих себя. В том случае, конечно, если они не попытались в свою очередь «сделать время». Таков, например, Ояр Лубинь, один из центральных персонажей недавно вышедшего романа «Тайник». Небанально рассказанная банальная история этого молодого человека началась в том самом 1979 году, когда разыгралась трагедия в Лиелверском лесничестве. И Лубинь, кстати, вроде бы тоже имеет, подобно героям «Корней», свои предствления о природе. Высказывает он их почти сразу после смерти Лиепсарга — в то же лето. Казалось бы, персонажи «Тайника» имеют даже некоторое хронологическое преимущество перед персонажами «Корней», дабы глубже осознать насущные проблемы действительности. Однако в данном случае писатель наглядно показал, как биографическое время может отставать от исторического. Все у Лубиня сводится к прагматическим, не им самим установленным мнениям о «здоровой деревенской жизни». О том же, что сама деревня больна так же, как окружающая ее природа, он и понятия не имеет. Просветлять свой разум он не привык, даром что учится в университете. Не стоит поэтому удивляться, что подвечная им где-то идея — жениться на румяной поселанке — осуществившись, тут же блекнет, уступая другим нехитрым, внушенным ему обстоятельствами времени и места соображениям.

«Сделанные временем» инфантильные персонажи, подобные Лубиню, склонны тем не менее раньше других переступать границы нравственности, ибо в своем убогом самодовольстве подозревают, что вина-то

кроется не в них самих, а во времени. Это подсознание обывателя, предъявляющего все права на счастье и презирающего свободу (разумеется, в первую очередь — чужую), руководит у Бэлса и поштупками вполне безобидного Лубиня, но и страшными действиями таких персонажей, как таксист Диндан из «Клетки» или тот же Букубенде из «Корней». «Сепаратизм» этих людей мнимый, он продиктован, в сущности, инстинктом собственника, всегда приспособляющегося ко времени и рассчитывающего получить «со временем» мзду — за молчание, равнодушные и беспамятство. Когда же со сребрениками начинаются перебои, эти «герои» в обиде на время пытаются вытянуть «положенное» у своих ближних.

В книгах Бэлса судьба человека решается в его диалоге с эпохой. Когда из этого диалога рождается новое осознание времени, человеческое бытие наполняется истинным смыслом, и биографическое время отдельной личности как бы переводится во время историческое.

Когда этого не происходит, когда пора свершений оттягивается, то объясняется это духовной и душевной распущенностью персонажей, их бездумным смирением перед фатальностью судьбы. Унылое credo таких личностей: «время не переделаешь». Да и некогда им этим заниматься. Ведь жизнь — мгновение, срывай цветы...

На самом деле время в произведениях Бэлса ограничено, точно отмерено и точно указано по причине не низкой, а высокой (но не эсхатологической): героям писателя даровано право надеяться, что ни одно мгновение не проскользнет «просто так», каждое засчитается в духовном, кующем время усилки.

Но есть «время» и есть «поветрия времени», весьма ощутимые в нашей повседневной действительности. То и дело его порывы заглушают из глубины идущий «шум времени», и, собственно говоря, они-то, к несчастью, чаще всего и организуют фабулу человеческой жизни. Может быть поэтому еще произведения Бэлса так насыщены внефабульным автономным действием. Хотя и от интриги как таковой писатель нигде не отказывается.

Так, например, очень существен для интерпретации увлекательнейшего, на мой взгляд, из романов Бэлса «Клетка» тот факт, что приведшее к катастрофе путешествие главного героя обосновано, среди прочего, и общей для его круга людей модой на загородную жизнь.

В романе это беглый, но судьбообразующий штрих. Потому что и на более глубоких психологических уровнях писатель обнаруживает у Эдмунда Берза все то же: пассивное, держащееся «принципа удвольствия» сознание.

«В общем-то на все вопросы его жизни имелись готовые ответы», — пишет о своем герое Бэлс. Беда Берза в том, что эти «готовые ответы» не им самим даны, они заимствованы.

Блестяще проведенное в этом романе «следствие по делу Берза» прежде всего и глубже всего раскрывает историю очищения души героя от пут и поветрий времени.

Трудно избежать соблазна истолковать эту вещь как повествование об «обретенном времени», и вообще сказать о нем несколько подробней. Создание «Клетки», видимо, было для писателя тем, что по-французски называется *tour de force*<sup>1</sup> — во всем многообразии вкладываемых в это выражение смыслов.

В «Клетке» решается проблема: что же ценно в человеческой жизни? Где пролегал индивидуальный для каждого путь к истине? В искусстве этот вопрос неотделим от исследования того, что сбивает человека с пути. Ведь зачастую его выносит на обочину, а потом и в болото, незаметно для него самого.

Детективная фабула, монтажная компоновка эпизодов, композиционная слоистость этого романа видимым образом указывают на исключительно современное художественное мышление Бэлса. Но недаром о «новом» говорят порой как о «хорошо забытом старом». Романная форма для автора «Клетки» оказалась в решающей степени старинной и испытанной формой познания человеком самого себя в водовороте истории. В этом отношении для писателя она — одна из художественно-философских форм самопознания.

<sup>1</sup> *tour de force* — ловкая штука (фр.).



В «Клетке» внутренний мир человека исследуется на краю его гибели. То, что оглушенный и заточенный грабителями в лесной глухомани Берз все-таки выжил, можно назвать неотличимой от условности случайностью. Ситуация описана практически нереальная. Такой же условностью, впрочем, является и жизнь Робинзона Крузо на необитаемом острове. Система доказательств в искусстве, говоря словами Бориса Пастернака, «чем случайней, тем вернее». Случайность толкает к художественной гиперболе, к обострению смысла и, в итоге, к... истине. Бэлсом эта художественная методология применяется без видимого усилия и на протяжении всего повествования. Вообще сюжеты с иллюзорными, если их измерять простым соответствием действительности, ситуациями у него встречаются часто. То, что в быту небылица, в литературе — реальность, то, что в жизни неудача, в литературе — торжество. В романе «Клетка» человек, оказавшись в изоляции, не теряет ничего, но приобретает все. Итог впечатляющий.

Человек всегда может победить — и даже смерть его победу не отменяет. Бэлс настаивает на своем этическом максимализме, на своем врожденном оптимизме всюду. «Нелепо толковать о легком и трудном пути, — говорит он устами героя. — Выбирать надо единственный путь». Именно поэтому Берз верил до конца, что «...где-то во тьме на ощупь бредут к нему люди... и эта вера придавала ему силы». «Он считал, что все-таки победил клетку». Он верил, что «единственный путь» к его спасению найдут и другие люди.

Таков итог испытаний. Начало романа рисует иную картину. Изображаются идеальные молодые супруги. О таких говорят: «на них приятно посмотреть». Герой — талантливый молодой архитектор, вполне «оправдавший надежды», — неожиданно исчезает. Где он — никому не известно. Следствие ведет Струга, человек по характеру ему близкий, почти двойник: «Собирая сведения о Берзе, он неоднократно приходил к мысли, что разыскивает сам себя».

Две трети романа главный герой существует на его страницах лишь в отражениях, не всегда зеркальных. Его образ воссоздает Струга, запе-

чатлен он в сознании жены Берз Эдите, черты характера выявляются в диалогах людей, его знавших. Бэлсу мастерски удается косвенными штрихами создать портрет человека, понятного и без очного знакомства. Но этим задача романа не исчерпывается. В то же самое время, когда идут поиски Берза и его облик очерчивается вполне рельефно, он сам уже другой. С ним происходят очищающие его сознание и душу изменения. Так о чем же поведана эта история? О том, как человеку найти самого себя.

В расцвете сил Берз должен подвести итог всей жизни. Он вступил в область, где ни один из «готовых ответов» ничего не значил. Поначалу нелепое и неопасное, как он полагал, заточение вынуждает его проделать весь тяжкий путь познания мира самостоятельно. Описание пути Берза к обретению «философии жизни» — вот что в романе интересное все.

Сюжетное время романа ограничено одним месяцем, но изнутри действие озаряется дальним светом памяти, пульс исторического сознания прощупывается всюду.

История разделяется для Бэлса не только на эпохи — на дни, часы и минуты. Об этом он в своих произведениях напоминает постоянно.

В размышлениях о времени Бэлс нашел для себя надежные и небанальные ориентиры. В одной из бесед он говорил: «Задолго до создания теории относительности английский писатель Лоренс Стерн в романе «Тристрам Шенди» проделывает удивительные эксперименты с изображаемым временем. Эйнштейн писал, что конфликт человека со временем — это величайшая драма XX века».

Писатель, для которого время становится «неназванным героем», вступает на путь, со времен Стерна в литературе знакомый, но до конца не освоенный.

В «Тристраме Шенди» есть слова, которые хорошо помогают разобраться в писательской манере Бэлса: «Отступления, бесспорно, подобны солнечному свету, — они составляют жизнь и душу чтения». Без подобных отступлений вспять Бэлс, вслед за Стерном, не мыслит движения вперед. Движение это рождается зави-

симостью человека от времени и преодолением этой зависимости.

Сюжеты Бэлса, в том числе и сюжет «Клетки», определяются одним словом — «западня». Так, кстати, называется превосходный его рассказ, написанный не менее десяти лет назад. Зловещий его пейзаж с прудом дегтя у железнодорожной насыпи, в котором завязла и гибнет несчастная собачонка, кажется сегодня воистину символическим обобщением — в западне оказалась сама природа. Без всяких преувеличений заметим, что и весь роман «Корни» повествует о том же самом феномене — с описанием многочисленных вполне реальных засад, устраиваемых браконьерами на животных, птиц и даже... деревьях. Я уж не говорю о гибели в засадах персонажей этой книги.

В настоящую западню попадает на чердаке собственного дома героиня романа «Тайник» Зане Калне...

Западней оказывается обыкновенная будка на лодочной станции для героини романа «Бессонница» Дины...

В полицейской западне очутился герой романа «Голос зовущего» Карлсон...

Западнями переполнены во многих произведениях писателя любимые им исторические вставки. Замковые башни и дворы, замуровываемые в стены красавицы — все это звенья одного сюжетного мотива...

Подчеркнуто замкнутые пространства тесных жилищ во всех романах и многих рассказах Бэлса — отражение все той же самой коллизии.

Сюжет этот не обязательно к тому же материализуется в предметном образе — клетки, тайника или какой-нибудь комнатенки.

Западней у Бэлса часто оказывается нравственное искушение, себялюбие, склонность к наслаждению земными плодами, лирические утехи и прочие простительные и непростительные слабости...

Однако доминирующий смысл этого сюжета раскрывается даже не в этом. Философская интерпретация излюбленного Бэлсом мотива наталкивает на мысль более глубокого свойства.

Западня есть отрицание свободы.

Наличие западни подразумевает у Бэлса борьбу за освобождение. Звучит призыв о помощи, «голос зову-

щего». В контексте всего творчества писателя этот голос уже не просто голос, а возвышенный «глас». И не всегда, совсем не всегда он «вопиет в пустыне». Диапазон его широк — от мольбы о помощи людям до уверенного зова вперед человека, познавшего свободу.

Этический накал, характеризующий творческую манеру Бэлса, ощущается в подтексте его книг, может быть даже более явно, чем в самом их тексте. Ведь Бэлс любит писать и о непосредственных радостях, о чувстве устроенности человека в мире, ему свойственна известная эстетизация маленких прелестей бытия.

Некоторая эмоциональная расслабленность чувствуется в его изображениях женщин. Все его героини привлекательны и попросту хороши собой. «Красивая женщина сама по себе предвещница счастья», — говорит один из персонажей, наделенных недюжинным умом. В этом вопросе дело иногда доходит до идиллий, до пасторалей в духе «Дафниса и Хлои»: «Припекало солнце. Мы прикоснулись к природе, понемногу отбрасывая лишние мысли, лишнюю одежду и стыд...»

Все же мотивы, связанные с удовольствиями и наслаждениями в прозе Бэлса не преобладают. Он прекрасно понимает, что эта дорога ведет к сентиментальности, расхлябанности и унылому финалу.

Осязаемый бытовой контекст нуждается в осмыслении чисто этическом — такова изначальная позиция автора в прозе Бэлса. Она основана на древней, как само слово, человеческой потребности высказаться, произнести самостоятельное суждение о том, что человеку кажется справедливым и несправедливым в мире. От поэтической самопогруженности художественная мысль Бэлса движется к риторическому обобщению.

Риторика Бэлса носит характер исповеди, а не проповеди. Даже тогда, когда принципиальные суждения в его прозе совпадают с общезвестными, они выношены, подчас и пострадали самим автором. Их незаинтересованность — залог художественной убедительности. Непризнаваемая многими расшифрованность прозы, любовь к немедленному вынесению персонажам приговоров, даже

склонность к сентенциям — все это неотъемлемые черты писательской манеры Бэлса, составляющие, как правило, сильную ее сторону. Во всяком случае — оригинальную. Какая-то часть истины должна быть показана прямо. Иначе мы рискуем не добраться до нее вовсе. Ведь писатель — по уже высказанной в согласии с максимой Бэлса мысли — это «тот, кому известна правда».

Остается только пояснить, что здесь разумеется под «правдой». Слишком много у этого прекрасного слова значений и оттенков этих значений.

Сделаем это, воспользовавшись детально разработанной в эстетике системой определений, предложенных Романом Ингарденом.

Есть строго индивидуальная, всегда субъективная художественная правда, отстаиваемая конкретной личностью с неповторимым психическим складом. Эта правда диктует ему неподдающиеся чуждому воспроизведению «картины действительности».

Но есть также и правда общей распространенной точки зрения на те же самые «картины», правда, установившаяся в данной среде благодаря постоянству общения между собой людей и сходству их вкусов. В большей или меньшей степени, но и эта правда неизбежно отражается в художественных творениях.

У Бэлса — все в большей и большей, особенно в таком романе, как «Корни». В нем он почти заворожено передает истинность «автономного бытия», существующего вне художественной его интерпретации. Это «автономное бытие» «подобно солнечному свету» наполняет издавна облюбленный Бэлсом тип романной конструкции — с многочисленными отступлениями. Теперь они носят у писателя боевой просветительский характер.

Бэлс занял позицию просветителя-энциклопедиста, создавая своего рода путеводитель по латвийской действительности. В его «энциклопедии природы», каковой во многом стал роман «Корни», можно и почерпнуть сведения о самых общих проблемах экологии, и извлечь справку о том, что в леспромхозах с 1973 года сучья срезали пилой шведской фирмы «Партнер», а кустарник сводили отечественным агрегатом «Секор»... Так, с мелочей начиная, художественная проза Бэлса выходит на большие круги реальной жизни.

Да, его «отступления» можно назвать «отступлением в жизнь». Подобным же образом «отступают» в нее и такие всем известные соотечественники Бэлса по перу, как, например, Сергей Залыгин или Валентин Распутин. Их роль в жизни страны от этого лишь возрастает.

## МИХАИЛ ЗОРИН: «ВСЕ, ЧТО СУЖДЕНО»

Если сравнить жизнь с географической картой, сразу становится ясно, что на этой карте еще немало «белых пятен» незаписанных историй, нерассказанных воспоминаний, запомнившихся и полузабытых встреч. Известный полярный исследователь профессор Визе, сидя в своем кабинете и сравнивая дрейфы судов Седова и Брусилова, открыл остров. Но когда Визе добрался до этого острова, носящего теперь его имя, остров оказался неприветливым, пустынным, безлюдным и голым. Так что «не стоило его открывать», как заметил, вернувшись на корабль, профессор.

Правда, он увидел свое «белое пятно» впервые и не мог заранее решить, стоило ли его открывать или нет.

Этого не случилось с Михаилом Зориным, автором книги «Все, что суждено», изданной в Риге. Он как раз открыл, что «белые пятна» его жизни полны поэзии, нежности, молодой энергии, волнующих воспоминаний.

Лев Толстой считал, что обязывающее понятие «жанр» не характерно для русской литературы. То, что мы в наше время назвали бы очерком («Метель», «Рубка леса»), он, без колебаний, называет рассказом.

С этой мыслью, без сомнения, согласился бы Михаил Зорин, соединивший в своей книге эссе, которое можно было назвать рассказом («Моя последняя профессия») и повесть, которая ничем не отличается от мемуара («Ясень в окне»).

Однако есть счастливая черта, соединяющая эти произведения: их интересно читать. Занимательность мож-

но скрещивать с точностью, искренность с оттенком грусти, которыми окрашена вся эта книга. Не туманная, отягчающая душу грусть, но светлая, характерная для человека, который прожил, может быть, нелегкую, но честную, полезную открытую жизнь. О точности стоит упомянуть потому, что Михаил Зорин много лет работал корреспондентом «Литературной газеты» и других газет и журналов, а точность это не только вежливость королей, а порука порядочности, которую читатель чувствует и ценит.

Книгу открывает пространное воспоминание «Тихо, как в лесу», которую М. Зорин назвал маленькой повестью. Отец его — врач, а дед — лесничий, и запомнившееся на всю жизнь детство автор провел в лесу. Кто только не писал о детстве? И Лев Толстой, и Алексей Толстой, и Фет, и Аксаков, и Куприн, и наш современник Фазиль Искандер. Все эти произведения — и многие другие — непохожи друг на друга. Но они связаны одной характерной чертой — зоркостью детского зрения. Счастлив писатель, сохраняющий на всю жизнь эту зоркость, эту свободную, естественную остроту, это простейшее отношение к миру, к мертвому и живому миру, к предметам, существам и растениям. Михаил Зорин принадлежит к этим счастливым. «Тихо, как в лесу» написано поэтично и поэтому точно. Читатель видит и деда — высокого, широкоплечего, сильного человека, который был склонен (как сказано в служебной аттестации) к рассуждениям и критике и который ничего не боялся. «С плеча его свисало на ста-

реньком ремне ружье, у пояса в заношенном брезентовом чехле острый топор». Им он вырубает цифры, буквы и знаки, понятные только лесникам. Портрет бабушки особенно удался. Ее любимая поговорка: «Жизнь — это лес». Она много рассказывает о своей жизни в лесу, о «дружеской» встрече с волком, о молодом поляке, который, скрываясь от полиции, однажды ночью поступался в избу лесничего.

Фамилия студента-подпольщика не названа, но читатель понимает, что ее и не надо называть, потому что она широко известна в истории революционной борьбы.

Однако пора заметить, что книга М. Зорина займет свое место в нашей литературе не потому, что он поэтически рассказал в ней о своем детстве. Она ценна своими безупречными свидетельствами, рисующими жизнь замечательных писателей Латвии и Эстонии — Яниса Судрабкалнса, Яниса Гротса, Эллы Залите и Юхана Смуула. Я не встречал в нашей литературе более сердечных и более содержательных воспоминаний об этих людях, принесших неоценимую пользу советской и мировой культуре.

В известной сказке Гауфа превращенный в аиста Халиф не может вернуть себе человеческий образ, пока не вспомнит условленного магического слова. Поиски этого слова похожи на захватывающий труд воспоминаний: мысль, важная для далекого или близкого прошлого, должна быть не найдена, но ОТКРЫТА. Тогда-то, мне кажется, и возникает «заметность» прошлого. Тогда-то оно и принимает реальные, вещественные очертания. О дружеских отношениях с Янисом Судрабкалнсом автор рассказывает с уверенностью в том, что они найдут свое место в истории литературы. И рассказывает с любовью. Казалось бы трудно соединить документальность и поэтичность. Однако Зорину удается и это. Близкий друг Яниса Судрабкалнса, хорошо знакомый с его жизнью и многосторонним творчеством, он рассказал о нем свободно, не заботясь о последовательности и полагаясь на память. И тем не менее истории латышской литературы не обойдут этих воспоминаний. Они напоминают мне портрет с прямо нацеленным на чита-

теля взглядом. В этом взгляде много — и задумчивость, и усталость, и сдержанность, и вдохновение.

Иначе написаны воспоминания об известном эстонском писателе и путешественнике Юхане Смууле. Они начинаются словами: «Юхан Смуул мечтал состариться», а кончатся описанием похорон сорокадевятилетнего путешественника, прозаика и поэта. «Он знал и чувствовал ветры всех морей, он замерзал в снежную бурю у ледяного барьера Антарктиды, качался на волнах суровой Северной Атлантики, с полярниками откалывал ломом ледяные глыбы на Шпицбергене, задыхался в изнуряющих зноем тропиках у берегов Экваториальной Африки, писал стихи о желтой луне над Большим Австралийским заливом, вдыхал зимний декабрьский ветер Японского моря», — пишет М. Зорин (с. 227).

Знаменитая «Ледовая книга» написана счастливым человеком — об этом ничего не пишет М. Зорин, но это чувствуется в каждой строке его воспоминаний.

Мне очень хотелось познакомиться с Юханом Смуулом, и однажды, приехав в Таллин, я пошел к нему без приглашения. Но не застал: «На Курильских островах», — сказала мне его жена, приветливая красавица Дебора Вааранди. Она известная поэтесса. При Александре Твардовском ее портрет висел в отделе поэзии журнала «Новый мир».

Книга Михаила Зорина полна интересных, новых сведений о писателях Прибалтийских республик. Одних он знал, с другими дружил, третьих внимательно, с любовью прочитал, чтобы рассказать о них в своих многочисленных статьях и рецензиях.

Название книги «Все, что суждено» относится к поэту и переводчику Янису Гротсу, тесно связанному с нашей русской литературой. Но в моей короткой рецензии для него, к сожалению, не нашлось места. Это был человек, у которого украли портфель, содержащий новую книгу стихов, и который огорчился, узнав, что портфель отыскался в столе находок. «Почему не украли, вернули портфель? Может быть, стихи не понравились. Хорошие стихи не возвращают».

Переделкино.

## ПРИБАЛТИЙСКИЙ ЭТЮД ЮРИЯ ТЫНЯНОВА

«Малая» проза Тынянова не собрана и до сих пор известна читателю не в полном ее объеме и составе. Один из ранних опытов, остающихся за пределами основного собрания, — рассказ «Попугай Брукса» (1925) — перепечатан в «Даугаве», 1987, № 1. «Два перергона» были опубликованы в издании, раритетность которого задана самим его жанром: «Литературная газета». Однодневная газета ко Дню печати, 2 мая 1929 г.

Этюд этот лишь с большой натяжкой можно отнести к путевым очеркам или чему-то подобному. Но возник он именно в результате путешествия. В октябре 1928 г., не дожидаясь верстки романа о Грибоедове (первое книжное издание) и тома статей (еще не имевшего заглавия «Архаисты и новаторы»), Тынянов выехал для лечения в Германию (документы оформлялись с трудом, разрешения пришлось добиваться через начальственных лиц — зав. агитпропом Ленинградского обкома А. Стецкого и руководителя городского ГПУ Егорова). Помимо лечения Тынянов занимался в Берлине некоторыми издательскими делами, связанными с немецкими переводами произведений современных русских писателей; среди многих литературных собеседников его — Роман Гуль и Овадий Савич. В декабре он отправился в Прагу, выступил в Пражском лингвистическом кружке с докладом по проблеме литературной эволюции и вместе с Р. О. Якобсоном написал тезисы «Проблемы изучения литературы и языка», ставшие впоследствии зна-

менитыми. В январе вернулся в Берлин и в том же месяце выехал на родину.

Появившиеся одновременно «Архаисты и новаторы» и «Смерть Вазира-Мухтара» ясно образуют в биографии автора вершинный пункт, но это ясность ретроспективная — сам он склонен был мыслить скорее кризисами, чем достижениями. Неординарное место, столь быстро завоеванное им в литературе, он не хотел считать твердо очерченным и как раз в Берлине попытался нащупать некоторые новые возможности своей прозы. «Никогда не было у меня таких мук творчества, я становлюсь последователем Горнфельда», — острил он в письме редактору Л. М. Варковицкой 30 октября 1928 г. (обыгрывая заглавие книги А. Г. Горнфельда «Муки слова», 1906) и уведомлял о работе над «Берлинскими рассказчиками» (в другом письме ей же: «Немецкие рассказы»). Не совсем понятно, насколько далеко продвинулась работа, которую автор никак не отразил в печати; часть этих опытов была опубликована через 40 лет (ЛГ, 1967, 19 апр.), часть осталась в архиве. Понятно другое: немецкая натура была лишь поводом, подлинный источник поисков заключался в стремлении выйти за пределы т.н. исторической прозы, в новые жанровые сферы. Того же он хотел добиться и на материале противоположного свойства — не чужом, иностранном, но автобиографическом, в котором выделялись, грубо говоря, два пласта: провинциальное детство (Латгалия, Режица, Псков) и литера-

турно-академическая жизнь. Поездка дала импульс и в этих направлениях — увиденная из окна вагона Латвия не могла не воздействовать на пласт старых впечатлений, а посещение Праги отразилось в плане мемуарно-портретного цикла «Люди» пунктом: «Роман Якобсон». В других планах-перечнях замыслов появились такие записи, как «Заграница», «Записная книжка. Литва. Латвия. Берлин. Прага»<sup>1</sup>. Надо еще раз подчеркнуть, что дело здесь было не просто в освоении того или иного неиспользованного материала или приобретении нового писательского амплуа соответственно приращению «мастерства», а именно в тяге к преодолению границы между «историческим» и «современным» в художественном языке прозы.

«Два перегона» собственно и стали первым доведенным до печати опытом такого рода. Через год последовал цикл, снабженный пародийным (и автопародийным) заглавием «Исторические рассказы» («Звезда», 1930, № 6), — там не было «истории» ни в смысле романов о Кюхельбекере и Грибоедове, ни даже в духе Кижэ. В цикле нашло применение оба автобиографических пласта, но автобиографичность провинциального не была объявлена, как и в «Попугае Брукса»<sup>2</sup> и латышском «перегоне». Ко всему ряду опытов после «Смерти Вазир-Мухтара» прямо относятся слова Тынянова в одном из интервью: «Современная литература... жива для меня не своими результатами, а своими попытками и усилиями»<sup>3</sup>. Стоит поэтому всмотреться в публикуемый текст.

Латышский фрагмент построен на повторяющихся и варьируемых словесных темах и этим напоминает развертывание стихотворного текста. Начат он каламбуром: название фрагмента, следующее сразу за общим заголовком, естественно читается как имя города, но в первых

фразах и далее фигурирует рига — сарай. «Рига стоит» — стоит как будто и ее значение, но та же фраза, повторенная в вокзальной главе, возвращает в текст имя собственное, удерживая при этом и прежнее значение, — тем более цепко удерживая, что вокзал деревянный и с застрехами.

Простейшее «стоит» также не столь просто. Здесь игра извлечена не из одного слова, а из пары глаголов «стоять — идти», рассыпанных по всему тексту. Нужна она для того, чтобы уничтожить противоположность их значений (движение — отсутствие движения; важны только эти главнейшие признаки — поэтому в игре участвуют и такие глаголы, как сидеть, пробираться, выбегать, наступать). А это в свою очередь нужно для того, чтобы передать ход-стояние «большого времени» — времени природы и истории. Природа и история не разграничены, а слиты — еще одна принципиальная художественная установка. В это соединение входит и язык: этимология слова *krievs* в данном контексте выявляет присутствие «большого времени». Оно невообразимо, но язык дает возможность его помыслить, а художественный текст — даже ощутить.

Таков эффект всех этих вариаций и столкновений: рига стоит — стоит крест; латыш сидит — дым никуда не идет — латыш идет домой; королева идет — война идет; снег идет — идет двадцатое столетие — рига стоит; все ходят — старики сидят и т. д. Сравнение «война проходит, как прошла королева в темный лес» может показаться сомнительным, издержкой метода. Но в контексте оно прочно мотивировано предыдущим сравнением ночного леса, куда гонит королеву «уходящий от немцев земгалиец»<sup>4</sup>, — со сном; сновидение связано с тем, что уже

<sup>1</sup> Об этих и других неосуществленных замыслах см.: Тыняновский сборник. Рига, 1984, с. 25—45.

<sup>2</sup> Н. Л. Тынянова рассказывала нам, что в Режице жила семья некоего Брунса — еврей, пришедшие, видимо, из Эстонии. Местные с трудом с ними объяснялись.

<sup>3</sup> Читатель и писатель, 1928, 31 марта.

<sup>4</sup> В связи с этим эпизодом отметим близкие биографические обстоятельства: в 1915 или 1916 г. Тыняновы эвакуировались из Режицы в Нижний Новгород, откуда перебрались затем в Ярославль. «Война разрушила благосостояние семьи Тыняновых», — говорится в воспоминаниях Ю. Г. Оксмана (Тыняновский сборник. Рига, 1984, с. 93). Он имел в виду эти переезды. Глава семьи был врачом, и на новых местах ему не удавалось наладить практику.

случилось, произошло, — война ушла в прошлое и будет сниться. Снег, корова, война, революция — приравнены тем, что они идут и проходят, и тем, что они — всегда, как всегда стоит рига. Под тем же знаком происходящего всегда, от века стоят переключки прямого и метафорического значений: курить, гореть (пожар), прикурить огня — или такое звуко-смысловое столкновение, как «уминает (девку) — умирает», с дальнейшим развитием этого мотива: «На почине... запел жеребенок» — а та, которую уминали, «вдруг надорвалась от детей и трудов».

Если можно так выразиться, текст эллиптичен.

Приравненность природного и исторического позволяет развить метафорическое движение, связанное со смысловой сферой растительного, аграрного — и вообще сферой биологического роста. Оставляя в стороне вопрос о соответствующих мощных архетипах, отложившихся в языке и неизбежно воздействующих на художественное сознание, обратим внимание только на конкретные словесные ходы Тынянова. Воздух обрывает дымом, как шерстью, — старик порос мхом — развалины зарастают травой — «кажется рыжим овсом ворс... куртки». Отсюда и офицеры с цветущим ворсом на шинелях читаются в том же «аграрном» ключе: они произросли в природо-истории, пришло время их вырезания, как вместо парня и девки выросли адвокаты и их дамы. И после упоминания **древесного** рисунка указательного пальца фраза про людей, идущих за «невидимым плугом», доносит эстафету до метафорически-портретного обобщения о крестьянской основе нации.

В концовке — «стоит... вдовья тишина». Это наталкивает на предположение, что текст завершается реминисценцией стихотворения Мандельштама «Золотистого меда струя из бутылки текла...», 5-й его строфы: «Ну а в комнате белой как прятка стоит тишина. Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала» — и далее два стиха о Пенелопе. Тынянов восхищался этим стихотворением<sup>5</sup>, и поэтическое

сближение — до отождествления — древности с сегодняшним днем, с сиюминутным впечатлением могло служить ему образцом.

Если латышский фрагмент начинается с каламбура, то литовский — с пародии. Пародийно объединение Блока и Зощенко в качестве «пейзажистов» и, конечно, присоединение к ним «некоторых других», в число которых попадут и Пушкин, и Гоголь. Вторая усмешка достается «русскому пейзажу» как литературному клише, — демонстрируется призрачность этого определения, так что пейзаж оказывается «не русским», — типично тыняновский ход, подчеркнутый еще «китайским» сравнением. «Подпоручик Киж» в журнальном тексте открывался подобным же образом (начальная глава впоследствии не перепечатывалась): «Знаменитый этнограф и писатель Владимир Даль любил русский язык так, как может только любить его вконец обруселый датчанин. Он не только собрал все русские слова в свой знаменитый словарь, но и выдумал много новых, которые казались ему наиболее русскими. Словарь его напоминает огромную коллекцию музыкальных инструментов, секрет игры на которых нынче уже неизвестен»<sup>6</sup>.

Игра с национальными признаками образует стык «перегонов». Есть и другие переключки (крест; Цезарь — Наполеон<sup>7</sup>), но в целом литовский написан иначе; в частности, другой глагольный строй, с неожиданным на фоне латышского фрагмента «ты» (второе лицо тут псевдоним первого). Однако разница умеряется единством эмоционального тона. Это, пожалуй, вообще излюбленная тыняновская тональность, заметно измененная чуть ли не единственный раз только на последних, предсмертных страницах «Пушкина». Здесь она ощущается сгущенно — вероятно потому, что повествователь не отделен от читателя массой исторического материала, а художественный статус «русского путешест-

<sup>6</sup> Красная новь, 1928, № 1, с. 97.

<sup>7</sup> Наполеон обнаруживается на ковенском вокзале. Возле Ковно (Каунаса) в конце 1812 г. шли бои с отступавшими из пределов Российской империи частями наполеоновской армии.

<sup>5</sup> Каверин В. Письменный стол. М., 1985, с. 77.



венника» всегда предполагал достаточно короткую, хотя бы и литературно насыщенную, дистанцию между ним и реальным автором.

И если обратиться от текста к автору, то представить тогдашнего Тынянова помогают воспоминания Р. О. Якобсона, писавшего почти полвека спустя о «глубокой и неизбывной печальности «арапчонка», как мы его в шутку прозвали». Правда, здесь же мемуарист говорит, что на этом фоне «в Юрии бил ключом яркий, полнокровный юмор и дар озорного пересмешника, мастера на импровизацию собственных искристых пародий и на вскрытие потаенных пародий у изучаемых им классиков»<sup>8</sup>. Якобсон застал момент, когда стало брать верх первое из этих контрастирующих свойств. Конец 20-х годов окрасили: угрожающая неясность болезни, «общий оползень Опояза», проанализированный, по свидетельству Якобсона, Тыняновым в Праге, ухудшение обстановки в Институте истории искусств, отражавшее тенденции общественно-политической жизни, далеко не идиллическая семейная ситуация. Работа с Якобсоном над совместными тезисами была для Тынянова не только научным актом, но и попыткой продлить и продолжить то, что уходило с 20-ми годами. В цитируемом письме В. Б. Шкловскому сказано: «Побывал в Праге и с трудом уехал оттуда, привык и обжился. [...] Вообще, после кисло-сладких людей, было очень приятно встретиться в Опоязе». Вот концовка этого письма с мрачной цитацией Маяковского:

«Мой «Киж» имеет здесь успех. Изд-во Киненгейер переводит «Ва-

зира». В Чехии Роман продал все мои книжки.

Все-таки, мой дорогой друг, мне невесело. Я переменялся. Наступает самая страшная из амортизаций. Спешно ищу любимого, но ненужного занятия. Очень одинок. Ломать жизнь и переезжать из квартиры, кажется, не буду. Пускай, и так хорошо. Целую тебя крепко и остаюсь в жажде спасения. Видел Эренбурга, не поладили»<sup>9</sup>.

Но рубеж 30-х годов был отмечен и ярким сочинением, стилистически наиболее совершенным среди тыняновской прозы, — «Восковой персоной», к работе над которой Тынянов приступил примерно через год после «Перегонов» (сама же тема вынашивалась несколько лет) и к которой они имеют частное, но достаточно определенное отношение.

Следует отметить прежде всего тему изваяния в «Литовском перегоне» (в отличие от произрастания в латышском) и художника («маляра») с его моделью, причем этому сопутствует мотив насилия, физического мучения, так что части человеческого тела даются в двойном смысловом освещении. Сюда же примыкает эротический мотив «ночных распятий», идущий из поэзии символистского круга. Все это — элементы, которые были развиты в повести с ее «натуралиями», «вострыми малярями», экзекуциями и казнями. Так, пересечение мотивов казни и «ночных распятий» приводит к пассажию об отрубленных головах придворных любовников: «А вторая голова была Гамильтон — Марья Даниловна Хаментова. Та голова, на которой было столь строение жилок, где какая жилка проходит, — что сам хозяин, на помете, сперва эту голову поцеловал, потом объяснил тут же стоящим, как много жил проходит от головы к шее и обратно. И велел голову в хлебное вино и в куншткамору. А раньше с Марьей леживал».

В смысловом поле повести человеческое тело оказывается профессиональным объектом то художника, то падача. Наказуемого солдата са-

<sup>8</sup> В письме В. Б. Шкловскому в январе 1929 г. Тынянов, говоря о Якобсоне («человек большой и приятный»), набросал такое психологическое сопоставление: «Ему не очень скучно. Хотя, по разнице конституций, его скука и элегия для меня — сплошное веселье» (Вопросы литературы, 1984, № 12, с. 196). Воспоминания Якобсона были написаны в середине 70-х годов по предложению В. А. Каверина для мемуарного сборника о Тынянове. По обыкновенным, т. н. внешним причинам издание растянулось на много лет; в инстанциях статья Якобсона была изъята. Она появилась в сборнике под ред. Витторио Страда: Россия. Russia Вып. 3. Torino, 1977, с. 161—170, а затем вошла в 5-й том «Selected Writings» Якобсона (1979).

<sup>9</sup> ЦГАЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 723. В публикации в «Вопросах литературы» неумеренные купюры захватили примерно половину текста письма.

жают на «деревянное лошадиное подобие», «и когда те голые руки обнимали шею, — видно было, как устроена человеческая рука, какие на ней ямины» (ср. в «Литовском перегоне»). Экзекуцию наблюдает из толпы бежавший из кунсткамеры «живой урод» — шестипалый Яков. «А когда сняли солдата и положили его на рогожку, Яков подошел совсем близко и увидел: лежал и смотрел на него Михалко, его брат» — тот, кто продал Якова «в куншткамеру и получил 50 рублей». Эту кульминацию разрешает мотив, разработанный в «Риге», причем «библейская» окраска теперь усилена синтаксически — повторяющимся начальным «и»: «И Яков прошел мимо брата, как и все проходит, как проходит время, или как проходят огонь и воду, как свет проходит сквозь стекло, как пес проходит мимо раненого пса [...] И пошел в харчевню, в многонародное место, где пар, где люди, где еда»<sup>10</sup>.

Наконец, в латгальской главе — там, где говорится о детстве Марты Скавронской, будущей Екатерины I, — находим те же, что в «Риге», крестьянские реалии и того же молчаливого курящего латыша. «...Баба,

меся белыми, как месяц, ногами грязь...», и хлев, вспоминающийся земгалийцу, — всплывают в сне Марты: «Латгальский месяц стоял, светил на ее голые ноги, навоз под ногами был жирный, рыжий. Она шла в хлев доить коров».

Необходимый для исследователя, взгляд за пределы основного собрания нужен и читателю. В данном случае он мог бы даже не дополнить знакомое, а помочь уяснению главного: тыняновская проза написана и должна читаться как семантическая и стилистическая, а не тематическая, «из таких-то времен». И канонизация, и вражда часто идут мимо этого главного. Тынянов-ученый теперь прочтен и понят; Тынянов-художник, по-видимому, читается многими из потребителей его крупных тиражей неадекватно. По причинам, корни которых слишком глубоко, чтобы их можно было здесь обсуждать, страсть к многострадальной истории и любовь к классике у нас традиционно сильнее страсти к искусству и любви к слову. А он бился над тем, чтобы поймать в **слово** эклизиастический ветер, дующий над историей. И надо замечать, не пропускать: прямо перед голыми руками, обнимающими шею жуткой деревянной лошади, вставлена улыбающаяся калашница, «еще молодая», — то есть опять-таки «уминает — умирает». И вот это замечать: **жирный, рыжий...**

<sup>10</sup> Ср. о нагнетении фраз с начальным «и» в другом месте повести: «Это звучит, как стихи из Апокалипсиса» (Белиннов А. Юрий Тынянов. М., 1965, с. 435).

## ДВА ПЕРЕГОНА

### РИГА

1. У риги на завалинке сидит старый латыш. Рига копчена дымом, вялена ветром; завалинка полирована штанами поколений. Она янтарна. У старика небритое лицо врубелевского Пана. (Или у врубелевского Пана лицо старого латыша.) Он курит самокрутку, и самокрутка желтеет от сырого дыма. Дым никуда не идет, и воздух обрастает клочьями шерсти. Это весна. В мокрых полях — валюми<sup>1</sup>. Бабы и девки голосят славу Иванову дню:

Ионас динас лиго, лиго!<sup>2</sup>

Курчавый белесый парень, похожий на тевтона времени Цезаря, уминает в кустах девку. Старый латыш идет домой и умирает, другой старик, поросший лихом, крутит самокрутку. Он смотрит дымным глазом. На почине, подняв нежную голову, запел жеребенок. Девка, такая бойкая, вдруг надорвалась от детей и трудов, и вместо нее стоит за деревней смолистый крест. На нем уже нельзя разобрать надписи. Рига, серая от лет, почти серебряного дерева, в один час сгорает легко и весело. Пьют брагу, и баба, меся белыми, как месяц, ногами грязь, запирает на ночь ворота. Наступает двадцатое столетие. По болоту пробираются в фольварк засолы и социялисты<sup>3</sup>, для веселых и грозных

дел, прикурить огня. Развалины старинной крепостной фабрики зарастают жирной, бледной травой. Поезд коротко кричит им из-за лесу дымом и искрами. Потом идет снег. Бабы и девки выбегают из бани, подобные образующимся облакам, валяются в снегу и снова вбегают в баню. Снег идет, много снега. Яна расстреливают у самой избы, привязав его к фонарю. Идет двадцатое столетие. Другая рига стоит, старая сестра идет мимо. Латыш с трубкою сидит на завалинке. Он говорит ей: «Кривичи затеяли войну». — Кривичами зовут латыши в двадцатом столетии русских<sup>4</sup>. Сипят без голоса ночами телеги. Корова идет за коптящим фонариком, франтовато виляя худым задом. Она вступает в лес, как в сон. За коровой — хозяин. Сидит на возу, на самой вершине, баба, протянув в отступающий горизонт два полена в волосатых чулках. Она равнодушно являет их взору опечаленного мужа, а он вспоминает об оставленном на родине хлеве. Как подавался там, под босой ногой, чавкая, теплая, навоз!

— Лаб-деан<sup>5</sup>.

— Вассала<sup>6</sup>.

Это латгалец приветствует уходящего от немцев земгалийца.

2. Рига стоит. Медленно уходит домой старый латыш, помолчать еще

<sup>1</sup> Весенний праздник. (Здесь и далее примечания Ю. Тынянова. — Ред.)

<sup>2</sup> «Слава Иванову дню».

<sup>3</sup> Так звали в Латгалии в 1905 г. социалистов и революционеров.

<sup>4</sup> «Кривя» — латышское слово, название русских.

<sup>5</sup> и <sup>6</sup> Приветствия: «Добрый день», «Здорово».

двадцать лет с женой, и на сыром солнце кажется рыжим овсом ворс его куртки. Война идет и проходит, как прошла корова в темный лес. Он получает письма от сыновей. Один — доктор у кривичей, другой в городе адвокатом. В Латвии много тяжб: из-за канавы, из-за березы, из-за земли. Адвокат много зарабатывает, но мало пишет. Третий сын скоро приедет — в городе тихо и его рассчитали. Старик думает: к кому перейдет земля после смерти?  
— Лаб-деан!  
— Вассала!

Рига стоит. Немецкие дрожки и немецкие клеенчатые извозчики, которых уже нет в Германии, у вокзала; вокзал деревянный, с застрехами и коньками. Золотой и зеленый ворс цветет на шинелях офице-

ров. Адвокаты в заграничных котелках поддерживают за локоть сильных, веснушчатых женщин. В мире неповторимы только походка, почерк и древесный рисунок указательного пальца: у офицеров, адвокатов, носильщиков — согнутые широкие спины и одежды на них болтаются. Все ходят вперевалку, тянутся за невидимым плугом, все — переодетые крестьяне.

А в буфете сидят старики, говорящие по-русски с польским акцентом, и у них красные, расплющенные между Россией и Германией лица. А на белых столиках стоит перед ними кофе, ликер и, небольшими порциями, самодовольная, искусственная вдовья тишина.

2 мая 1929

## ЛИТОВСКИЙ ПЕРЕГОН

1. Блок, Зоценко и некоторые другие изображают русский пейзаж в примерно таком виде: серый домик с ослепшими окнами, трется худым боком о стену скотинка, выгон, похаживающий на болотце, изрыт копытами, и косой дождь поливает его. Может быть, это русский пейзаж, но прежде всего литовский.

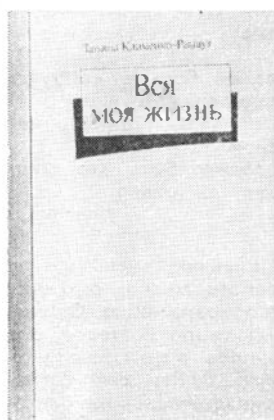
На литовских полях, на болотах, снопы стоят, как китайцы перед казнью, — наклонив головы.

Лица литовцев остры и бледны, неразличимы, как белые штукатурные домики их станций. Сиротский дом, больница и острог в городке беленые. И когда ты покинешь неправильные размеры городка и выедешь на большую дорогу, там тебя встретят бледные литовские поля. И у толстого каменного забора, под кровелькой католического креста, ты увидишь желтую штукатурку голого тела, ржавые гроздьи крови, кирпичную бороду, задранную вверх, и обращенные в узкие досочки крестной крови беленые глаза. На

гвозде, прободавшем слабый известняк тела, ты тронешь прошлогодний веночек, который превратился в сено, разбух и осыпается трухой. И только присмотревшись к старательно вздутым, раскрашенным синькой жилам, ты захочешь увидеть деревенского маляра, который так измучил штукатурного Бога, да, может быть, еще его жену, чтобы посмотреть, нет ли у нее на руках таких же синих жил, не бледна ли она, как известно, нет ли следов ржавчины от ночных распятый.

2. Комнатные, заспанные мужчины ведут за руки маленьких жирных детей. У мужчин материнский вид. Они беспокойно кланяются офицеру, он отвечает некоторым. Он маленький, бледный, со скрещенными на груди руками: вокзальный ковенский Наполеон. В преувеличенной форме, преувеличенным маршем идет к нему высокий смуглый жандарм. Бледные мужчины неуверенно снимают котелки (Ковенский вокзал).

Публикация **Евгения ТОДДЕСА**



## ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ

Татьяна Даниловна Клименко-Ратгауз — наша современница и наша соотечественница. Но судьба поэтессы сложилась столь своеобразно, что это создает ощущение, что она сопричастна разным временам и разным пространствам. В самом деле, юность Т. Д. Клименко-Ратгауз прошла в Праге, где жила тогда и Марина Цветаева; а приход зрелости она встретила в довоенной Риге, где могла встречаться с членами Общества Рериха. В ее альбоме — автографы И. А. Бунина, Н. Н. Евреинова, И. Северянина, А. Вертинского. В ее памяти — дореволюционная Москва. И старинный особняк на Поварской улице, у порога которого иногда оробело стояли студентки и курсистки, желающие получить автограф Даниила Ратгауза, популярного в те годы поэта. Еще бы: на его слова писал изумительные романсы П. И. Чайковский.

Таков культурно-исторический фон, на котором протекала жизнь Татьяны Даниловны. Она кажется человеком из легенды. И тем интереснее, что мы можем ненароком повстречаться с ней на улочках Старой Риги, или позвонить ей, наводя нужные нам справки о литературной Праге и театральной Риге (поэтесса долгое время была драматической актрисой и ее игра ценилась знатоками). Такие люди, как Т. Д. Клименко-Ратгауз, помогают нам восстановить связь времен. Они — связные культуры. В наши дни их миссия особенно значительна.

На глазах Т. Д. Клименко-Ратгауз одна за другой разыгрались великие трагедии XX века. Она сама была вовлечена в них. Лирико-философские размышления о смерти, к которым поэтесса была склонна уже в ранние годы, наполнены у нее конкретными реалиями времени. Был страх. Были потери. Было отчаяние.

**Татьяна Клименко-Ратгауз. Вся моя жизнь. Стихи. Рига: Лиесма, 1987.**

---

И я? Я — тоже. Также? — Неужели?  
И жалости неистовый прилив —  
К себе, к земле; и, руки опустив  
(Они, как сердце, сразу опустели),  
Все вдруг понять и пасть покорно ниц.

В этих психологически точных строках прекрасно сказано о том накате пустоты, который идет вслед за отчаянием, вытесняя жизнь из ее бренного сосуда. Внутренний вакуум, опустошенность... В XX веке целые страны и города могли превращаться в огромные вакуумные камеры. Т. Д. Клименко-Ратгауз знает об этом по личному опыту, пишет об этом личном и надличном опыте. Но мотиву безысходного опустошения в ее стихах прямо или скрыто противостоит мотив наполненности бытия. Две силы как бы ведут спор между собой, и их коллизия придает поэзии Т. Д. Клименко-Ратгауз напряженную драматичность.

Природа не любит пустот. Дети об этом порой знают лучше, чем взрослые:

«Если она умерла, раз ее больше не будет,  
Может быть, кто-то родился, чтоб жить  
вместо нее.  
Может быть, это ребенок.  
Может быть, это птица.  
Может быть, это дерево или только  
цветок!..»

Так сказал маленький мальчик, очень ее любивший. Это стихи о полноте жизни; стихи печальные и жизнелюбивые одновременно. Ощущение полноты бытия, свойственное поэтессе, опосредованно передается через плотность ее письма. Вероятно, молодая Т. Д. Клименко-Ратгауз была ближе всего к акмеистической школе — и отсюда ее внимание к деталям и подробностям, располагающим в стихах очень тесно, уплотненно. «Прозы пристальной крупницы» (Б. Пастернак) придают стихам поэтессы вещную достоверность. Она любит густую пастозную живопись:

Сквозь петли изумрудных кружев  
Всплывают жгучей сини пятна.

Но поэтесса владеет и приемами тонкой линейной графики:

Вот телефонных проводов  
Легко легли меридианы.

Однако ощущение полноты бытия может усилиться чувством любви настолько, что поэтесса в пространстве одной строфы использует и живописные, и графические образы:

Я хочу подарить тебе радугу,  
Бело-черных веселых сорок...

---

Соположенность радужного спектра с контрастной графикой здесь не ведет к внутренней антитезе — скорее одна техника дополняет другую, как бы набегает и накладывается на нее, дабы передать ощущение чего-то неизбежно богатого, неисчерпаемого.

Обычное физическое пространство иногда оказывается тесным для поэтессы — и тогда оно словно разламывается, сквозь иными измерениями. После подробного перечисления реалий «городской прозы» — прозы сухой и грубой — вдруг, внезапно открывается проем в иномирное, запредельное:

К стеклу холодному припав горячим лбом,  
Наверх глядеть в мучительном вопросе,  
Туда, где чья-то длань серебряным серпом  
Срезает звездные колосья.

Обыденное и возвышенное часто сталкиваются в стихах Т. Д. Клименко-Ратгауз. Это сближает ее с поэтикой романтизма. Так, в романтической традиции, столь неожиданно воскресающей на современном урбанистическом фоне, написано стихотворение «Джоконда»:

Губ углы, опущенные книзу,  
Черная вуаль на волосах.  
Ты выходишь ночью, Мона Лиза,  
Слушать городские голоса.

Пространство реальное в стихах поэтессы нередко пересекается с пространством сновидческим, — и реалистически точное письмо тогда переходит в мглистые размывы романтической палитры. Как бы исчезает граница между жизнью и смертью, явью и грезой.

Как об умершей, думай обо мне,  
Припоминая голос и походку,  
Под шелест и метания во сне  
И под часов безумную трещотку.

Интересная деталь: «безумная трещотка часов», — образ, точно передающий убыстренный и обращенный ход времени во сне.

Взаимодействие графики и живописи; пересечения разных пространств; сложный контрапункт чувств — все эти качества делают небольшую книгу поэтессы весомой и многоплановой. В пределах восьмидесяти с небольшим страниц уместилась полувековая работа. Стихи Т. Д. Клименко-Ратгауз выдержаны под прессом времени; резкий ветер эпохи не оставил в них ничего наносного, облегченного.

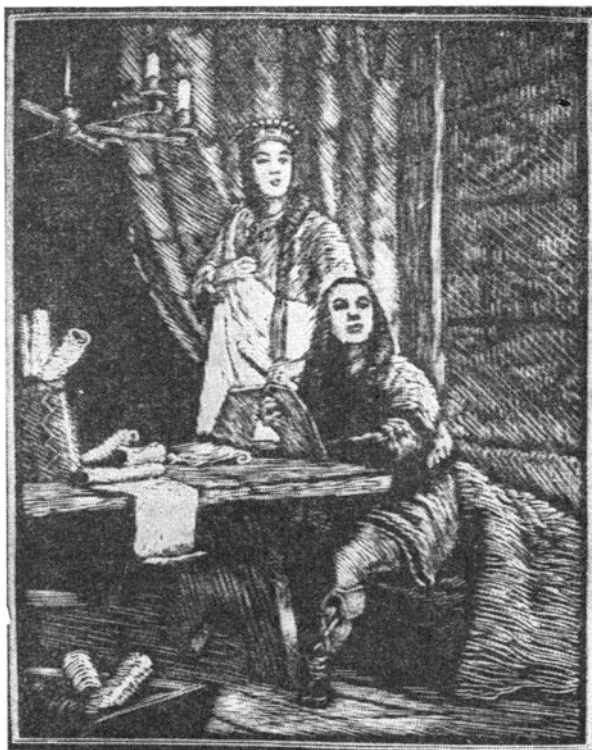
Чем тоньше — порой на грани обрыва! — становилась нить судьбы, тем более плотной и сращенной делалась связь поэтессы с миром. Поэтическое чувство как бы напитывало собой города, интерьеры, предметы быта, — оттого-то

подробности мира одушевлены и вочеловечены  
в стихах поэтессы:

В зеркальной глуби — может быть,  
весною —  
Ты улыбнешься и уйдешь из глаз,  
Покинешь мир, пронизанный тобою.

Подлинный поэт всегда ощущает себя стоящим на порубежье между бытием и небытием, зеркалом и зазеркальем, миром и иномиром. И чем острее чувство этого порубежья, тем достовернее и трагичнее его стихи. И тем сильнее в них тяга к свету, к радости жизни.

**Юрий ЛИННИК**



Андрей Гончаров. 1950 год



**ПО ПОВОДУ РУБРИКИ.** Среди читательской почты есть немало писем, содержащих конкретные вопросы к редакции или просьбы. На большинство из них обычно мы отсылаемся ответными письмами. Однако некоторые аспекты переписки, как нам кажется, могут представлять интерес для всех наших читателей. В этих случаях мы решили отвечать на страницах журнала под рубрикой «Почта „Даугавы“».

*«Являюсь постоянной подписчицей и верной поклонницей вашего журнала. Мне и нашему коллективу объединения «Художественная гравюра» интересны как новые публикации, отражающие жизнь всей страны, так и рубрика «НФ», «Гостиная», страницы поэзии. Мы подписались на «Даугаву» на 1988 год, доверившись вашему вкусу. Однако все же хотели бы знать ваши планы по прозе на второе полугодие. В отличие от других журналов, вы почему-то не публикуете анонс.*

*С уважением Нелли Резник (Москва)».*

Уважаемая Нелли Александровна!

В портфеле редакции на второе полугодие и начало следующего года есть немало интересных рукописей. Среди них — хроника времен культа личности «Крутой маршрут» Е. Гинзбург, публикацию которой мы начнем с седьмого номера этого года и закончим во втором квартале следующего года, анонимная проза восьмидесятых годов прошлого века «Удильщик на Двине», повесть Э. Кулиса «Нобелевская премия за любовь», повесть В. Бааля «С утра до полуночи», иронический роман М. Зариньша «ТТТ», роман В. Свирского «Нелетная погода», повесть Н. Гуданца «При попытке взлететь», научная фантастика латвийских авторов, проза В. Набокова, Э. Адамсона, А. Эглитиса, В. Якобсона, Э. Рубене.

*«В 1984 г. на меня наложили партийное взыскание: строгий выговор с занесением в уч. карточку «за потерю политической бдительности, выразившуюся в попытке размножить книгу идеологически вредного содержания». Эта книга была не что иное, как «Время дождя» Стругацких, в то время ходившая по рукам под названием «Гадкие лебеди». В связи с публикацией этого романа в вашем журнале за 1987 г. и последними событиями в политической жизни страны появилась возможность снять позорный ярлык. У меня к вам убедительнейшая просьба: выслать письмо, заверенное печатью, в котором указывалось бы, что в «Даугаве» в 1987 г. вышел роман Стругацких «Время дождя», который первоначально назывался «Гадкие лебеди». Последняя фраза — обязательна, так как я был наказан именно за книгу, носящую это название.*

*А. Кладовщиков (Москва)»*

Справка. Дана настоящая Кладовщикову А. В. в том, что опубликованный нами роман Стругацких «Время дождя» («Даугава», 1987 г.) имел ранее название «Гадкие лебеди». Желаем Вам скорейшей и полной реабилитации. Одновременно выражаем возмущение действиями Ваших гонителей. Жаль, что Вы не указали их поименно. Надеемся, их время окончательно кануло в прошлое.

Редколлегия «Даугавы»

*«Уважаемый тов. Чехлов!*

*С большим интересом прочел Ваш рассказ о Тухачевском в № 1 «Даугавы». Спасибо. В настоящее время я работаю над большой книгой о С. П. Королеве — космическом академике, в судьбе которого Тухачевский сыграл немалую роль. В связи с этим у меня к Вам есть несколько вопросов:*

*1. Мне известно, что Тухачевский признал себя виновным буквально на второй день после ареста. Почему? Били ли его? Ваша версия?*

2. Вы не упоминаете даже имени Ворошилова. Почему? Ведь Ворошилов был одной из важных пружин в «военно-фашистском заговоре».

3. Насколько мне известно, в то время после объявления приговора расстреливали сразу. У Вас — по-другому. Располагаете ли Вы какими-нибудь данными на сей счет.

Мне Ваша работа понравилась. Это честная, правдивая работа. Что очень важно в документальной прозе, Вы не преступаете границ возможного авторского домысла. Поэтому очень прошу не рассматривать мое письмо как критику Вашей работы. Оно продиктовано лишь желанием уточнить некоторые сведения и, возможно, с Вашей помощью познакомиться с первоисточниками.

С товарищеским приветом Ярослав Голованов (Переделкино).

Уважаемый Ярослав Кириллович!

Прежде всего, позвольте Вас поблагодарить за столь благожелательный отзыв о моем рассказе «Расстрелянные звезды».

Постараюсь ответить на Ваши вопросы.

Слухи о том, что Тухачевского вынудили признаться в своей «вине» уже на второй день допросов, представляются сомнительными. И это несмотря на ретивость подручных Ежова и наличие якобы бесспорной улики — пресловутого «бордеро», то есть фотокопии расписки Тухачевского в получении им некоторой суммы от германской разведки. Не таков был Тухачевский, чтобы сломаться в первые же часы! И потом, зачем тогда нужно было тянуть с процессом до 11 июня?

Вопрос о роли Ворошилова в этой истории. Думаю, что организатором процесса он не был. Ворошилову больше подходит роль пассивного соучастника преступления. Ведь он фактически безропотно отдал на растерзание армию.

И последнее. Во всех документах указывается дата смерти Тухачевского — 12 июня 1937 года, начиная от прессы 1937 года до БСЭ новейшего издания. Если учесть, что приговор был объявлен во второй половине дня 11 июня, то дата казни — 12-е — вне всяких сомнений.

Думаю, что лишь опубликование в будущем всех материалов процесса над «группой Тухачевского» позволит определить, кто и насколько погрешил против истины.

С приветом и наилучшими пожеланиями  
Ваш А. Чехлов

---

Авторы снимков в тексте: Харийс Бурмейстарс, Борис Голубев, Атис Иевиньш, Юрис Криевиньш, Роланд Фогт, Мартиньш Зелменис, Гунарс Яняйтис

На первой и четвертой страницах обложки: Волдемарс Валдманис. Иллюстрации к эстонскому изданию эпоса Андрея Пумпура «Лачплесис». 1961 год.

Фото Роланда Фогта

---

Сдано в набор 13.04.88.

Подписано к печати 17.05.88. ЯТ 03215.

Формат 60×90/16. Типогр. бумага № 1,

мелованная бумага. Высокая печать.

8,0+0,25+0,25 усл.-печ. л., 9,86 ус. кр.-отт.,

9,48 уч.-изд. л. Тираж 37 000.

Заказ № 448. Цена 45 коп.

Адрес редакции: 226081, Рига, ГСП.

Баласта дамбис, 3.

Телефоны: гл. редактор 466049,

зам. гл. редактора 465913,

отв. секретарь 465996.

отд. прозы 465992,

отд. поэзии 465998.

отд. критики и публицистики 465990.

техн. секретарь 465993.

Отпечатано в тип. Издательства ЦК КП Латвии.

226081, Рига, Баласта дамбис, 3.

Технический редактор  
Мудите АРАЯ.

Корректор  
Любовь СОКОЛОВСКАЯ.



Эмил Мелдерис. Иллюстрация к эпосу «Лачплесис». 1936 год









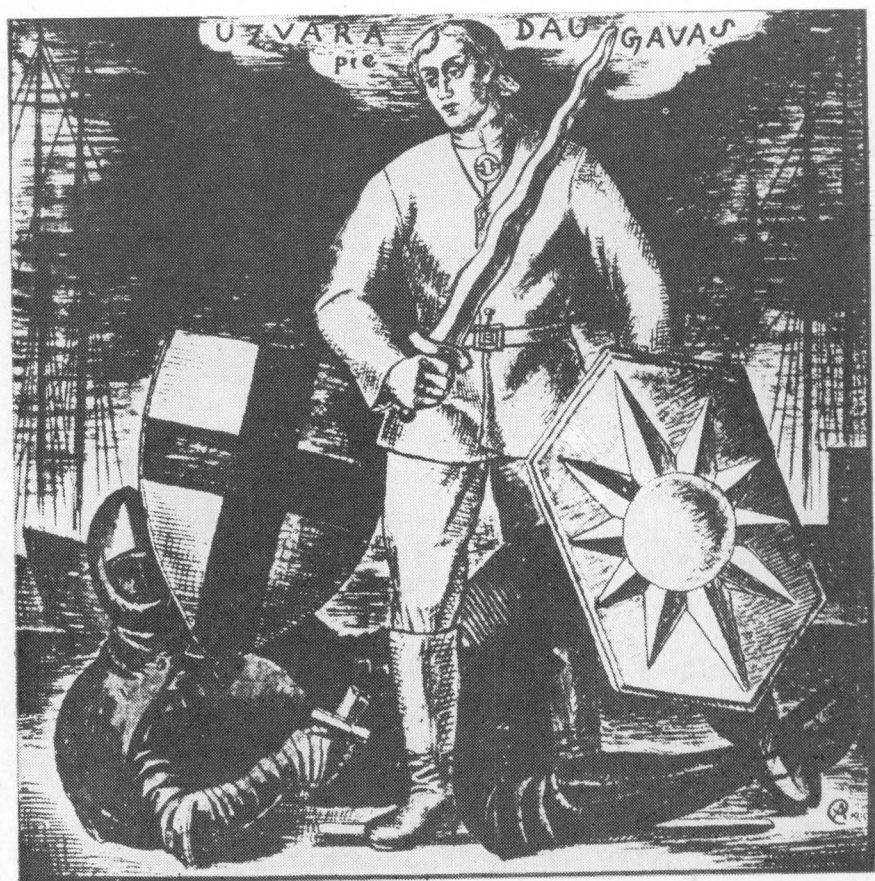
Гирт Вилкс. 1947 год





Сувенир «Лачплесис». Штучная цена — 6 рублей.

Фото Роланда Фогга



Ансис Цирулис. Победа у Даугавы. 1925 год



